

Церковь Святого Самозванца



СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

Ксения Павлин

18+

Ксения Павлин

Церковь Святого Самозванца

<https://litres.ru/74651988>

SelfPub; 2026

Аннотация

Что может свести разбитную автостопщицу, молодого реставратора икон и профессора московского университета? Только древняя секта, пережившая века гонений и массовых убийств.

Пина – студентка, которую занесло на богом забытый хутор посреди ростовских степей. За окном её нового дома стоит странная чёрная церковь без креста. Нечто из прогоревшей темноты вызывает к девушке, и вскоре она понимает, что это место не отпустит её, пока она не исполнит волю Господаря.

Никодим – молодой реставратор из Архангельска, взявший в работу таинственную икону. Теперь его всюду преследуют страшные видения, и сама вера в Бога поддаётся сомнению. Пытаясь спасти свою душу, Никодим выходит на след давно забытой ереси.

Семён Мефистофелевич – преподаватель московского университета. Больше полувека ему приходится хранить за душой страшную тайну. Тайну, забравшую его мать в далёкие советские годы. Тайну, за которую в одно мгновение умирали сотни. Но чего стоит эта тайна, когда приблизился день Последнего Исхода?

Содержание

Хутор без памятника Ленину	5
Двуликая икона	28
Пина на маковом поле	58
Причастие скверной	76
Медовое солнце	112
Конец ознакомительного фрагмента.	133

Ксения Павлин

Церковь Святого Самозванца

*Не убойишися от страха нощнаго,
от стрелы летящия во дни,
от вещи во тме преходящия, от сряща
и беса полуденнаго
(Псалом 90:6)*

Хутор без памятника Ленину

Договорились – до первого жилого пункта, без разницы, будь то стоянка дальнобойщиков, заправка или село на три двора. Что это будет – неважно. Это всего лишь очередная точка на карте. Желательно, чтобы её не ставили как можно дальше. В путешествии она всегда любила дорогу. Буквально дорогу, с дрянным ухабистым асфальтом, полями и лесополосами, с мостами над гнилыми обмельчавшие речками, с облезлыми вывесками, которые забывались уже через минуту. Любила пассажирскую сонливость, бутылку тёплой воды на заднем сидении, попутные беседы ни о чём. После четырёх часов на трассе даже самая убогая машина – это оазис на колёсах, а нынешняя оказалась вполне сносной: непримечательная отечественная легковушка, серая от пыли. Водитель её такой же серый и сносный. Поболтать его не тянуло, похоже, автостопщиков он брал нечасто, и она всецело отдалась созерцанию бесконечно вечной южной степи.

Продумывать дальнейший путь не хотелось. Хорошо, если её высадят возле заправки с каким-нибудь захолустным motel, там и перекусить можно, и нового попутчика найти, а если не повезет, то переспать до нового утра. Денег осталось мало, но на ночёвку хватит. Койка, тумбочка, душ с отсыревшими полотенцами и треснутым обмылком, постельное бельё, протёртое временем и стирками, барахлящий венти-

лятор при жаре в сорок градусов, а утром приторный кофе «три-в-одном», жирный беляш вприкуску и снова в дорогу. Не худший сценарий, да и прочие уже успели отвалиться. Третий час они тащились по мёртвой степи без малейших следов цивилизации. Исчезли даже желтоликие подсолнечные поля, уступив место диким травам и зарослям осоки. Связь не ловила. Радио некоторое время пыталось что-то похрипывать весёлым эстрадным голосом, а затем умолкло на полуслове. Остался только шум ветра и ворчание старого мотора. За рыже-лиловыми сумерками проступала звёздная южная ночь.

Вдруг водитель резко съехал с трассы на узкую неровную дорогу. Даже не дорогу, а на две выдавленные колеи посреди степи.

Это в сценарий не входило.

Не сводя безразличных глаз с окна, она потянулась вниз и, притворяясь, что чешет ногу, вытащила из голенища ботинка складной ножик. Так, на всякий случай. Крови он не знал, но рука у неё ловкая, и страх своё дело сделает. А, впрочем, это был не первый жуткий тип на её пути и раньше всё заканчивалось ничем, разве что разок водила переборщил с травкой и чуть не угробил их всех, врезавшись в электрический столб. Хотя, раньше-то она стопила с компанией, а тут решила добраться до опостылевшей Москвы в одиночку. Забавно, если первый же самостоятельный трип её и погубит, но она слишком вымоталась за день, чтобы бояться всерьёз.

Чему быть, того не миновать. Может, хотя бы прославиться как жертва нового Чикатило.

Водитель не спешил предаваться насилию, всё ехал себе молча к темнеющему горизонту. Покачиваясь из стороны в сторону, машина нырнула куда-то вниз. Впереди проступили очертания старых, одноэтажных домов. Ни в одном не горел свет. Рядом промелькнула типовая синяя вывеска, без букв. Просто кусок синего железа. Что за...

– Приехали. Как и договаривались, самый ближайший населённый пункт, – наконец разлепил губы водитель. Голос у него был глухой и утомлённый, как окрестная степь.

Она быстро огляделась. По обе стороны неровной, никогда не знавшей асфальта дороги притаились дома, одинаково низкорослые, обветшалые, ряженные в изразцы, как покойники в кружева. Они не жались друг к другу, подобно своим городским собратьям, а держались отчужденно, настороже. Вокруг каждого простирался обширный участок с садом, кольями торчали деревянные заборы, и только деревья своёвольно раскидывали тяжелые ветви над соседскими вотчинами.

Час был не шибко поздний, уже поутих невыносимый дневной жар, а ночь только подошла к порогу. Самое время выйти на улицу, воздухом подышать, кости размять. Каким бы маленьким ни был посёлок, в это время его наполняла жизнь, пересуды старух, визги детей, весёлая похабненькая гульба молодых. Здесь же витала застоявшаяся тишина.

– Тут вообще кто-нибудь живёт?

– Живёт. Я прошлой зимой без топлива остался тут неподалеку, дошел до этого хутора. На картах его нет, здесь старики в основном остались, свой век доживают. На радушный приём не рассчитывай, если хочешь, можешь дальше со мной поехать, но это уже не в сторону Москвы будет. Отсюда ты хрен выберешься.

Хутор ей категорически не понравился, и водитель не врал, попутку отсюда она будет ловить долго. Но тело невыносимо ломило от долгого бездействия, хотелось хорошенько прохрустеться суставами и полежать на чем угодно, хоть на земле, а не трястись ещё час в ржавой колыхаге. К тому же, это интересно. Место, которого нет на карте. Выберется как-нибудь, пешком в крайнем случае. Потом будет что на пьянках травить, а то все байки у них с друзьями общие.

– Сойдёт, спасибо.

Хлопок двери, рюкзак на плечи, нож обратно в голенище. Желтоватые фары ещё пару минут били в спину. Она шла по неестественно длинному телу собственной тени, пока свет не исчез вслед за монотонным рычанием мотора.

Хутор оказался совсем маленький. Поплутав наугад по безликим улицам, она вскоре вышла на площадь, покрытую старой брусчаткой, сквозь которую пробивалась сорная трава. Посередине площади стоял невзрачный храм, типовая православная застройка с белыми стенами и золотыми куполами. Напротив него такой же типовой мемориал павшим

солдатам, под которым лежали еловые ветви и почерневшие гвоздики. Не хватало только извечного Ильича, но скорее всего он держался подальше от храма. За месяцы странствий она успела выучить постсоветскую святую троицу, живущую даже в самых захудалых посёлках: Ленин, мемориал павшему солдату и храм. Отец, сын, святой дух.

Из церкви выковылял старик в рясе и зазвонил в колокола, висевшие на ржавой раме с крестом. Под дребезжащий сбивчивый перезвон, противный до зубного скрежета, на улицу потянулись сморщенные старухи в цветастых косынках. Они не спешили расходиться. Осенив себя крестным знаменем напоследок, они сбивались в стайки и что-то по-голубиному ворковали меж собой, сгибая и без того гнутые спины.

Лучшего момента ждать было бессмысленно.

Расправив плечи и придав лицу самое благожелательное выражение, она подошла поближе к воркочущим старухам. Такие божьи одуванчики или посочувствуют и помогут, или такими словами обложат, что самой стыдно станет. Третьего не дано.

– Здравствуйте. Я здесь проездом. Не подскажете, где переночевать можно?

Резко умолкнув, старухи уставились на неё во все подслеповатые глаза. Чужое, пристальное внимание стегануло по бритой макушке. Её наконец-то заметили. Вокруг начали собираться остальные хуторяне, по большей части всё те же старики со старухами, но оказались среди них и женщины

средних лет, одутловатые и унылые, как бассетхаунды, их мужья с опухшими глазами запойных алкоголиков, и даже какая-то молодая семья с пацанёнком лет пяти. Все они без стеснения разглядывали её, будто редкое животное в зоопарке, разве что не фотографировались на фоне.

– Батюшки! – всплеснула руками сутулая старуха в ярко-красном платке. – Ты ж откуда здесь взялась такая-то? Автобусы три года как не ходят, в райцентр писать намучались.

– Одёжка, одёжка, глянь, у ней какая! И телефон. Городская небось, – вторила её товарка, а за ней остальные закудахтали.

– Не поймёшь сразу, чи хлопчик, чи девка, а голова вона лысая, как у вшиваго! Ещё и руки все в наколках.

– Ты не зэчка часом? – без обиняков спросил крупный мужик, на чьих костяшках она тут же заметила характерные размытые партаки и пожалела об упущенном водителе. Похоже, сейчас её насадят на вилы. Или что там на хуторах делают? Плетями забивают? На костре жгут?

Да уж, произвела первое впечатление, но, честно говоря, она так устала, что согласилась бы сейчас и на аутодафе. Заплывший от жары мозг нехотя ворочался. Давай, давай, давай, сочини очередную байку, создай новую личность, которая им понравится. Нужно добиться их расположения, иначе ночевать придётся под ближайшим кустом, отбиваясь от комаров и прочей живности.

– Я студентка, в Москве учусь, во ВГИКе на режиссёра. Вот по югу решила поездить, колориту набраться для будущих работ. Не всё же столицу нашу белокаменную в кино показывать, верно? В маленьких селениях красоты и характера в сто раз больше! Чем дальше от городов, тем интереснее. Всё другое: и дома, и люди, и даже воздух. Жизни больше, настоящей жизни, ну, вы понимаете.

Её монолог ушёл в молоко. В напряжённых лицах хуторян не появилось ни капли тепла.

– Ты посмотри кого к нам занесло! Режиссёр! С Москвы!

– Про наш хутор кино снимать будешь?

– Да чем черт не шутит, может и сниму, – не моргнув глазом, ответила она и, забывшись, потянулась в карман за кисетом, но тут же осеклась. Капля никотина убивает лошадь, а лишняя самокрутка и без того паршивое впечатление. Но как же хотелось перекурить этот затянувшийся день.

– Так что, есть где у вас остановиться? Гостиница какая? Мотель? Гостевой дом? Заброшенный сарай?

Народ безмолвствовал.

– Может, у кого переночевать можно? Я неприхотливая, на полу спокойно посплю.

Без толку. Пускать в дом пришлую девку, которая вполне могла оказаться домушницей, да ещё и с компанией, никто не рвался, но пара человек вроде поглядывали с сочувствием.

– Слушайте, я правда проблем не доставлю. Одна ночь и

завтра меня здесь уже не будет.

– Ага, конечно, приберешь всё и поминай как звали! Знаем мы таких, – не унимался мужик с наколками.

– По себе судишь, Васёк? Сам-то за что срок тянул?

Вперёд толпы выступил грозный старик с короткой седой бородой. Он был не по возрасту плечист и крепок, словно богатырь. Взгляд его тёмных глаз, наполовину погребённых тяжелыми бровями, давил к земле, как медленно опускающаяся бетонная плита. Борзый сиделец попятился назад и обиженно насупился, как обруганный ребёнок.

– Я же того, о безопасности нашей беспокоюсь...

– Клим–батюшка, ты глянь, кого к нам занесло! – облепив грозного старика со всех сторон, наперебой затрещали старухи обиженными сорочьими голосами. – Ночлежку себе ищет! Кто такая и откуда не говорит, режиссёр мол, из Москвы, кино снимает!

Властное движение руки мгновенно оборвало их трескотню.

– Слышал, – старик перевел суровый взгляд на неё, приценился, а затем бросил неохотно, – Ко мне ночевать пойдешь?

– Пойду.

– Вот и порешили.

Словно ледокол, старик стремительным шагом прорезал толпу и двинулся прочь от церкви. Поправив рюкзак на спине, она поспешила за ним, слыша, как вслед несутся гневные

пересуды. Они эту встречу ещё года три мусолить будут, не меньше. В таких местах никогда ничего не происходит, они стоят замершие, как домики в сувенирном стеклянном шаре. Тряхни разок, вскружится снег, а минуту спустя всё снова как было. Вечный застой.

– Звать тебя как, москвичка? – не сбавляя шага, спросил старик.

– Агриппина. Можно просто Пина.

– Ну и имечко.

Ещё бы, она взяла его из потрёпанной советской книжки об императоре Нероне, забытой кем-то на сиденье в электричке. Она читала её всю дорогу до Ростова, а потом оставила, как нашла. Забавно, что имя императорской матери так удачно сошлось с её старой кличкой.

– А вы, получается, местный священник?

– Вообще ни разу. Просто бабки, дуры старые, так зовут меня, батюшка да батюшка. Новый священник больно молодой для них, они его за мальчика на побегушках держат, Денисочку этого ссыльного, а кланяться кому-то надо, привычка же. Вот и выбрали меня в попы соборные. Ну да Бог с ними. Меня ты можешь звать Сандрóвичем. Ясно?

Сандрович жил на самом краю хутора, на крутом берегу реки, в белённом доме с зелёным забором. Стоило им подойти, как над забором взметнулась огромная косматая собака и зашлась лаем. От неожиданности Пина отшатнулась назад и дернулась к заветному ботинку. Сандрович ухмыльнулся.

– Не бойсь, он мослы точить не любит. Но ты имей ввиду, надумаешь чудить, я его с цепи спущу и вдогонку дробь добавлю. Старая! – от его не по годам мощного баса закладывало уши. – Придержи Полкана, у нас гости.

На высокое крыльцо выскочила бабулечка в белом переднике поверх старого хлопкового халата, застиранного до седых пятен. Вся она состояла из птичьих косточек да смуглой морщинистой кожи и казалась такой хрупкой, что смотреть больно. Однако она легко, одной командой загнала пса в будку и пошла их встречать.

– Кого ж ты привел, Климушка? Ах ты! – бабулечка прижала руки к груди. – Бухенвальдский набат! Ну, проходите, не стойте в воротах. Зовут тебя как, милая? Батюшки, имя–то какое! А родители как дома кличут? Груней? Грушей? Нет? А как?

Она постоянно суежилась, стоять спокойно не могла, всё нужно было ей делать много–много мелких движений каждую минуту. Едва Пина переступила порог, перед ней сразу и тапочки поставили, и о желание поесть справились, и где ванная с уборной показали, и раза три горестно посетовали, что в доме не прибрано. Всё это баба Лада делала, носясь вокруг встревоженной пчелой.

– Старая, угомонись. На стол давай накрывай, жрать охота, – осадил её Сандрович.

– Климушка, а где же мы девочку положим? Раскладушку с чердака тащить придется, а у тебя спина!

– В Юркиной комнате пусть ночует.

Старушка замерла. Лицо её в единый миг заострила скорбь, резче выступили борозды морщин, а глаза наполнились такой невыразимой тоской, что Пине захотелось выйти вон и ночевать под открытым небом.

– Хорошо, как скажешь. Проводишь? А я пока поставлю всё, – она отвернулась и быстро засеменила на кухню, будто скрываясь от сказанного.

Следом за Сандровичем Пина прошла через столовую, одну половину которой занимал стол, а другую – громоздкий советский сервант, за стеклянными дверцами которого теснилась посуда, выводок мраморных слоников и маленькие черно–белые фотографии. В дальнем углу Пина успела заметить старую изразцовую печку. За столовой шла гостиная, отделённая от неё не дверью, а длинной занавеской на кольцах. Внутри всё тот же советский интерьер: книжный шкаф, диван, длинный торшер с пыльной головой, укрытый кружевом телевизор с выпуклым экраном, пёстрые ковры на полу и стене. Два дверных проёма, также прикрытых занавесками. Сандрович пересёк гостиную и отдернул одну из них. С громким треском деревянные кольца сдвинулись вбок, утягивая за собой шелестящую ткань.

– Располагайся. Без особой надобности никуда не лезь, ничего не трогай.

Оставшись одна, Пина сбросила рюкзак на пол и без сил рухнула на не застеленную кровать. Жалобно скрипнули ста-

рые пружины. Полуразряженный телефон слепил глаза. Господи, куда её занесло. Безымянный хутор на отшибе Ростовской области, интернет не ловит, в случае чего весточки о себе не подашь. Впрочем, если что-то случится, родители скажут только заветное «а мы тебе говорили» и палец о палец не ударят. Если вообще что-то скажут, расстались они паршиво, она даже не предупредила их, что уезжает, просто собрала вещи, пока они были на работе, и отправилась в путь на три недели раньше положенного.

Ладно, доберётся до Москвы, тогда и отзвонится, всё равно, судя по отсутствию звонков и сообщений, их не особо волнует её пропажа.

Запах еды проник сквозь занавеску. Скоро позовут за стол. Вытащив из рюкзака сменную одежду, Пина наскоро переоделась. От индийских штанов, украденных у приятеля по стопу, заметно пованивало потом, пылью и трассой, пришлось сменить их на чуть более чистые шорты. Нож перешел в их карман следом за кисетом. От пожилой четы она зла не ожидала, просто спокойнее, когда под рукой всегда есть нож и табак. Раньше ещё гигиеническая помада лежала, но она всё забывала её купить. Губы теперь напоминали окровавленную змеиную кожу, сплошь в омертвевших чешуйках.

Скинув вещи на единственный стул, Пина осмотрела своё временное пристанище. В кои-то веки не однообразная мотельная коробка, а жилая комната, с характером, историей, даже особенным воздухом: старым и сладковатым, как биб-

лиотечная книга.

Свободного места немного, как и во всех других комнатах. Вот высокая кровать на тонких металлических ножках и примостившаяся к ней тумбочка, а всё остальное пространство забрал себе ещё один мебельный гарнитур. Вплотную к окну стоял письменный стол—бюро, неуместно аристократичный для советского интерьера. Рука мягко прошла по пыльной глади, обнажая старинное тёмное дерево, которому не хватало лишь капли свежего лака, чтобы вернуться к былому величию. Замысловатые замки и ручки на многочисленных ящичках, потёртости, пятна чернил. Здесь мог работать непризнанный классик, сосланный в южную ссылку за вольное словцо, если бы цари прошлого были настолько изощрены, чтобы отправлять людей на безымянные хутора. Советская власть расправлялась с ними куда проще и прозаичнее.

Заглядевшись на стол, Пина не сразу ощутила на себе пристальный взгляд. В стеклянной части гарнитура среди книг застыл печальный юношеский лик. Сумерки не давали разглядеть его издали, пришлось подойти вплотную. Из-за прозрачной преграды на Пину глядел монохромный парень, её ровесник, образцовый советский мальчик с правильным пробором, мягкими чертами и ужасно серьёзным выражением лица. Именно такие фотографии выбирают для памяти, в них прямо читается «он знал, что его ждёт». Пина подобное терпеть не могла, от снимков тянуло мертвечиной похуже

чем с могильной плиты, и человек ощущался вымышленным героем, который никогда вовсе не жил, а сразу стал порядочным покойником, скорбным ангелом родного дома. Но только откроешь семейный альбом и найдешь там совершенно другого человека, из плоти и крови. Живого, понятного, беспорядочного. Вот с друзьями на выпускном рожки друг другу подставляют, вот на рыбалку поехал, из одежды полосатая майка да плавки, а вот в город на концерт собрался: несуразный начес, спортивная куртка из блестящей синтетики, пачка Мальборо как главный признак крутизны, – или вот, традиционное фото у новогодней ёлки со всей родней. Обычный парень с нашего двора, душа компании, вся жизнь впереди. Осознание его состоявшейся смертности бьет страшно и резко. Молодость смертна. Неожиданно смертна.

– Это Юрочка, сынок мой, – раздался позади тихий голос. В дверном проёме стояла низенькая тень в фартуке. Костлявыми руками она протянула стопку белья, белого, невероятно белого. Сослепу Пине почудилось, что от него исходит свечение, как от дешевых фосфорных браслетиков.

– Вот, постельное тебе принесла, но сначала за стол, за стол. Климущка уже сердчать начал.

Баба Лада всё поторапливала её, а сама стояла, не шелохнувшись. Даже во тьме было понятно, куда устремлён её взгляд.

– Молодой такой, – сказал Пина, лишь бы что-нибудь сказать. Влезать в чужую скорбь ей не хотелось, но и отмалчи-

ваться, когда тебя в дом впустили, тоже не дело. Только бы ей не стали изливать душу. Пожалуйста, только не это.

– Да, двадцать пять годков ему было. В Москве учился, работу там нашел, хорошую, а потом время это смутное началось.

Судорожный вздох наполнил комнату тяжестью.

– Ну, пойдем, стынет всё.

Стол накрыли человек на десять, не меньше. У Пины, которая с утра не ела ничего кроме залежавшейся булки и пары протеиновых батончиков, стянуло живот, а к нёбу подкатила волна вязкой слюны. Но, только она отодвинула стул, как со своего места поднялся Сандрович и молча повернулся к висящим в углу иконам. Медленно перекрестился, баба Лада – мелко и быстро. И вдруг на два голоса они начали читать «Отче наш». Молитва их звучала не монотонным речитативом, а нараспев, с неким заметным мотивом. Пина стояла, переминаясь с ноги на ногу. Слов она не знала. В её семье верили только в президента.

– Благослови сию пищу и питье. Аминь, – перекрестив стол, заключил Сандрович и сделал приглашающий жест.

О голоде больше беспокоиться не приходилось. Пина ещё не взяла в руки вилку, а баба Лада уже принялась ухаживать за ней. Щедрая порция тушёного мяса из чугунной утятницы, пара ложек воздушного пюре на молоке, сверху мясной подливы, как же без неё? Овощи, огурчики–помидорчики

свежие, с грядки. Хрустящая редиска обязательно с домашней сметаной, жирной и густой как крем, а сверху немного посолить особенной серой солью с травами. Почему хлебушек не берет? Вот, бородинский, белый, сверху колбаски, сырка, тоже домашние, соседки делают.

Уже пять минут спустя Пина поняла, что наелась до рези в животе, но тарелка ещё ломилась от еды, а баба Лада следила за ней с озабоченностью сестры милосердия, приставленной к умирающему. Уйти, недоев, не получится – невежливо. Остаться и сидеть над тарелкой, будто в детском саду, в надежде, что взрослые отошлют обратно в комнату? Глупо, ей же не пять лет, разговор нужно завязать, но Сандрович даже молчал весомо. Пока он не заговорит, голоса лучше не подавать.

– Москва, ты настойки пьешь? Или шампанское из погреба достать?

– А какие у вас настойки? – тут же оживилась Пина. После рюмашки–другой аппетит должен взыграть с новой силой. Старик усмехнулся и, выйдя из-за стола, вразвалочку подплыл к серванту и открыл дверцу сбоку. Внутри толпился неровный ряд разных бутылок, какие-то с заводскими этикетками, какие-то с самодельными, меж ними хрустальные графины с гранеными крышечками и одинокая бесхитростная пятилитровая банка с непонятной жидкостью.

– Наш ресторан предлагает вам настойку клюквенную, настойку на смородине, на рябине, на апельсине, на тыкве, на

тыкве запечённой, на лимоне, на сухофруктах, на черносливе, на облепихе, перцовка, хреновуха... Так, это что? А! на имбире, на пряностях, на хлебе, на абрикосах, на тютине, на алыче, на кизиле и просто самогон, – он с лукавым прищуром глянул на неё. – Ну, что будешь?

– Климущка, не спаивай девочку! От твоих настоек мужики косеют, а ты на неё погляди: кожа да кости. Ещё компотику, милая? Или чаю может быть?

– Давайте хреновуху для старта, а потом апельсиновую.

Со звучным стуком перед ней опустилась рюмка. Сандрович вскрыл бутылку, жадно вдохнул запах с горлышка и плеснул с горкой. Чувствуя, как тёмные насмешливые глаза следят за ней, словно за подопытной мышью, Пина осторожно взяла рюмку и одним махом опрокинула всё в себя. Пламя разлилось от горла до желудка, а потом ударило в нос так, что слёзы выступили. Быстро проморгаться, нельзя показать слабость. Под руку подсунули солёный огурчик, но Пина жестом отказалась.

– Хорошаааа... – хрипло выдохнула она. По крови уже забегали озорные искорки, и в животе, и на сердце полегчало.

– Глянь, даже не закашлялась. Держи, апельсиновая, десертная.

К полуночи она перепробовала почти все настойки. Размякла, захмелела, разговорились с Сандровичем, ему тоже градус на благо пошел. Баба Лада недолго с ними посидела и ушла восвояси, тихо, как мышка. Пина даже не заметила её

ухода, а Сандрович вдруг подцепил её под локоть и потянул за собой.

– Пойдём, на крылечке потолкуем, не будем старой мешать.

Ночь тонула в бархатной необъятной тьме и блеске миллиарда звёзд. Пина никогда не видела столько. В городе слишком много смога, дай Бог луну углядеть, а здесь все созвездия собрались, ещё б она умела находить что-то помимо ковша Большой и Малой Медведицы. Позабывшись, разложила на колене кiset, скрутила самокрутку, закурила. Сандрович достал откуда-то из-под крыльца замызганное блюдо и поставил рядом с ней, пепел сбрасывать. С реки тянуло прохладой и сыростью. Тихо плескались волны.

– Так что ты на самом деле здесь делаешь? Давай только без сказок про кино, это для друзей своих оставь. Прячешься от кого?

Пина неопределённо пожала плечами.

– Не, просто решила в Москву автостопом вернуться. Никогда не была тут на юге, только на море в детстве, так что мне всё здесь интересно. Степи, казаки, маньяки.

– Вот именно, что маньяки, – проворчал Сандрович. – Дитё дурное. Родители хоть знают, где ты?

– Да, пишу им время от времени. А вообще, я правда режиссёр. Вернее, стану им однажды, пока только учусь. Зато потом...

Она говорила и говорила, и говорила. Лгать после слова

«правда» удавалось особенно легко. Выпитые настойки отлично добавляла вкуса и красок к её мечтательным историям, в которые она под градусом сама уже почти что верила. Она ведь действительно хотела пойти в кино, не режиссёром только, а сценаристом либо оператором. Не свезло, родители продавили и запихнули её в престижное заведение на нормальную профессию. Стерпится—слюбится, говорили они, получи корочку и дальше делай, что хочешь. Она терпела, долго терпела, а потом проваленная зимняя сессия. Академический отпуск посреди третьего курса. «Вы хоть понимаете, какой у нас конкурс на это отделение?! У вас одни сплошные прогулы! Это неслыханно!» Месяцы тоскливого бездействия, подработки в книжных магазинах и кофейнях, походы в кино на что попало, от классики и арт-хауса до свежих отечественных комедий с тупорылыми шутками и обкуренными сюжетами. Ночевки у всех знакомых только бы не в общежитии, где за ней всё ещё числилась койка. Долгие сидения в Маке и КФС за ноутбуком с девственно белым Вордом.

Тщетно. С неё довольно. Она выгорела. Можно и зайца научить играть на барабанах, но музыкантом он от этого не станет. Возможно, по возвращении в Москву она бросит опостылевший универ и за год подготовится к новому поступлению. Или забьёт и уже дотянет ляжку, всего-то два года осталось. Ничто не важно, пока она за сотни километров от столицы, на хуторе без названия.

– В общем, в Москву я, конечно, еду, но не спешу. Хочу

вдоволь вдохновиться здешними местами.

– И долго ты тут собираешься вдохновляться? Ничего у нас на хуторе нет такого, три избы да две... кхм... звезды. Чай не Золотое Кольцо. Ехала бы ты в Вёшенскую, там хоть шолоховские места или как эта срань казачья называется...

– Если я вам мешаю, то хоть завтра отправлюсь. Спасибо, что вообще приютили.

– Ой да кому ты мешаешь? Комната уже двадцать лет пустая стоит, и желающих поселиться в ней нет. К тому же, хер ты отсюда сама уедешь. Автобуса нет, трасса мёртвая, наши тоже дальше соседнего посёлка с «пятёрочкой» не вылезут на своих калымагах. В сторону Воронежа только Павлик поедет, Милентьев, у него машина новая. Я с ним договарюсь, он всё равно туда мотается пару раз в месяц. А пока живи у нас, что уж. Ко мне под руку не лезь, старой чем можешь помогай. Она отбрыкиваться будет, ты её не слушай, просто делай. И в доме не смоли, ясно? На этом и забьёмся. А, да. Видишь вон там поле? Не суйся туда, оно маковое, в полдень и копыта отбросить можно.

В темноте маковое поле выглядело просто чёрным полотном, слабо шевелящимся на ветру, как шерсть огромного дремлющего зверя.

Выкурив ещё самокрутку на сон грядущий, Пина наскоро обмылась в едва тёплой воде и, оставшись в одной майке, юркнула в кровать, кем-то уже приготовленную ко сну. Постельное хрустело чистотой и крахмалом. Поскрипывали

старые пружины под матрасом. Босая ступня мельком коснулась шершавой глади ковра на стене. Тепло минувших зим пропитало его до последней нитки, и Пине стало хорошо и спокойно от этого прикосновения. Свернувшись калачиком, она уперлась обеими ногами в ковёр, чувствуя колючие мурашки по коже.

Под открытым окном, кутаясь в камыши, сонно вздыхала река.

Господи, как же она устала... Как загнанная до смерти собака. Даже глаза закрыть не может и расслабить гудящие от напряжения мышцы. Не первый ночлег в чужом доме, мотелей и хостелов было порядком больше, но несколько раз друзья друзей или уж совсем отдалённые знакомые знакомых пускали перекантоваться. У одной такой знакомой она прожила почти неделю, это абсолютный рекорд времени вне дороги. Они хорошо сидели вечерами с дешёвым сладковатым пивом и откровениями случайных попутчиков, днём Пина пыталась выспаться на жизнь вперёд, а девочка писала диплом, гремя кружками и ложками. Она училась на детского психолога, и когда её советы пройти терапию и простить родителей стали звучать чаще чем «пойдем покурим», Пина сбежала не прощаясь. Просто крикнула: «Закрой за мной!» – и была такова.

Здесь тоже не обойдётся без расспросов и нравоучений, сельская публика голодна до свежих сплетен. Впрочем, больше, чем слушать про других, люди любят говорить о себе,

и Пина вполне справится с ролью любопытного Шурика, собирающего местный фольклор. Эх, не стоило брить голову... Сейчас бы её светлые локоны оказались как нельзя кстати, одобрить честным голубооком взглядом и высоким голосочком пионера – и всё, дело выиграно.

Ладно, как-нибудь выкрутится. Это просто очередная остановка. Через месяц она этого места даже не вспомнит. Всё забывается, всё растворяется в суете, время пожирает людей, пожирает города, пожирает всё, до чего дотягивается своими жадными руками. Ей нужно только бежать от него, пока хватает сил, бежать, по пути хватая впечатления, хватая мелочи, потому что чего-то серьёзного ей в жизни не унести. Она человек бесконечной дороги. Которая никогда ни к чему не приведёт.

Пина проснулась до рассвета. Резко. Будто её скинули на пол и со всей силы пнули под дых. Сердце гремело по рёбрам. Пропитанная потом майка липла к спине. Каждое дыхание обжигало пересохший рот. Вдох-выдох, вдох-выдох, ВДОХ-ВЫДОХ.

Утёрла дрожащей ладонью лоб. Мокрый, будто её облили водой. Воздуха, не хватает воздуха... Господи, почему так душно... Рот сухой как у мертвеца. Да что же... На негнувшихся ногах Пина подошла к окну. Занавески в сторону. Распахнула ставни настежь. В лицо дыхнуло пресной сыростью. Утро, туман над водой, тонкое полупрозрачное небо.

Пина втянула прохладный воздух всей грудью и вдруг замерла, поражённая увиденным.

На том берегу реки среди низких кривых деревьев, словно низверженная царица среди черни, стояла чёрная церковь без креста. Купол её продавил вековой тяжестью крышу и склонился набок, словно старческая голова на хлипкой шее. Через него, как через единственный глаз, церковь взирала на хутор, насмешливо, снисходительно. Жестоко.

Ничего, что люди больше не ищут благодати под её сенью. Ничего, что они оставили её умирать в лесных туманах, отстроив себе нового тельца – белого в золоте. Ничего, ничего. Пина слышала эти злые причитания в шуме серой воды, в холодных порывах предрассветного ветра.

За деревьями расплылось яркое золотое свечение. Южная синь превращалась в лёгкую бирюзу. Солнце восходило ровно по оси церкви, будто его прикрепили к ней железным штырём, как на школьном макете. Сияющий огненный нимб застыл на уровне купола, и Пина утратила способность дышать.

Это было зрелище невыразимой, языческой красоты. Церковь сгорала в утренних лучах, темнела, обращалась в угли, но всё равно пылала, как если бы это было её главным предназначением.

Гореть.

Двуликая икона

В церкви всегда пахло домом, в отличие от квартиры на окраине Архангельска, где Никодим вроде как жил. Ладан, мирра, елей, тёплый медовый воск, по утрам тихое благоухание просфор. Белое мягкое тесто с резной печатью на макушке – ничего вкуснее в жизни не найдёшь. Он любил запивать просфоры посеребрённой святой водой, стоявшей в углу храма в большой крытой чаше с краником. Если долго–долго жевать, хлеб становился сладковатым, и это было счастье после голодных часов литургии.

При первой же мысли о еде заболел желудок. С прошлого вечера он ничего не ел, да и тот несчастный ужин в счёт по-хорошему не стоило брать. Суп прокис раньше времени, пришлось довольствоваться слипшимися макаронами по-флотски. А утром вернулась с дежурства мать.

Расслабляясь в тёплом позолоченном полумраке, Никодим прошел до алтаря. Вечером четверга храм пустовал, только пара дежурных старушек, пристально бдящих за порядком, да тётушка Фрося, продавщица в церковной лавке, миловидная и улыбчивая, будто с открытки в мессенджере. Она всегда бесплатно давала Никодиму свечи, по праздникам угощала пирожками, а на Пасху непременно вручала здоровый кулич, щедро политый глазурию с цветастой посыпкой. От её приторной доброты сводило зубы, но вме-

сто злобного оскала Никодим скромно улыбался ей и всем остальным, кто одаривал его снисходительной заботой.

Бедный, бедный Никодимушка. Вечно голодный, вечно в старой одежде, вечно слегка простуженный. Он безропотно принимал их подачки: еду, одежду, подарочные конвертики с мелкими купюрами, – и отвечал, смиренно потупив глазки: «Спаси вас Бог». Вид истоптанных кроссовок с высоты собственного роста стал привычнее человеческих лиц. Он не сын полка, а жалкий пасынок церкви, православный Квазимодо без горба, убогий билетик в вечную жизнь для других. Бедный-бедный Никодимушка.

Они ещё увидят, каков он будет.

Осенив себя крестным знаменiem, Никодим зашел в алтарь через правую дверь, охраняемую архангелом Михаилом, его небесным любимчиком. На противоположной двери кротко притаился Гавриил с белой лилией в руках, женственно смазливый, сам нежный как цветок. В чертах Михаила тоже недоставало мужественности, но всё с лихвой компенсировали кираса и копьё.

В алтаре, тускло освещенном подвесным электрическим канделябром, его ждал отец Гермоген. Высокий, полнотелый, с густой тёмно-русой бородой, распластавшейся по широкой груди, он вызывал в Никодиме подобострастный трепет что в день их первой встречи, что сейчас. Подлинный пастырь с поставленным голосом, властным взглядом и горячими руками, к которым он с благоговением приник в по-

целуе. Запах ладана и елея стал в сто крат сильнее, он бил прямо в нос, как хорошо поставленный удар. Никодим за-
ммурился. Как же он любил эти руки.

– Благослови тебя Господь, чадо, – пробасил густой медо-
вый баритон и добавил уже просто, с безобидным весельем,
– Ты не околел? У тебя не пальцы, а ледышки.

– Пустяки, отче, бывало и холоднее. До сорока мучеников
севастьянских мне ещё далеко.

Шутка ушла в молоко. Отец Гермоген неодобрительно
оглядел его старую парку на рыбьем меху, годную разве что
для ранней осени, но точно не для суровых архангельских
зим. Сколько раз он предлагал Никодиму взять что-нибудь
из вещей, которые прихожане отдавали нуждающимся, по-
падались там и нормальные тёплые куртки, но Никодим по-
стоянно выкручивался оправданиями. Его и так тошнило от
прямых подачек, не хватало ещё одежду для малоимущих се-
бе забирать. Если так хотелось его поддержать, можно было
бы подкидывать больше за реставрацию, но нет, всем нрави-
лось ставить его в неловкое положение малолетнего попро-
шайки. Как будто честно оплаченный труд не засчитывается
Богом за добродетель.

– Дитя ты неразумное, Никодимушка. Ладно, Бог с тобой.
Пойдём в трапезную, а потом покажу тебе фронт работ.

В трапезной, небольшой кафешке возле храма, отличаю-
щейся от всех других кафе в округе только крестом над вхо-
дом и а—ля церковной росписью на стенах, сидели миряне.

Парочка студентов с ноутбуками и девушка, безуспешно пытающаяся сфотографировать свой кофе. Плебеи, привлечённые дешёвой выпечкой и свободным вай-фаем. Никодим с отцом Гермогеном заняли дальний столик, и к ним тут же подбежала девочка в тёмно-зелёном фартуке. Официантов здесь не водилось, посетители сами делали заказ на кассе, но отца Гермогена знали и уважали все. Девочка бодро прощбетала меню, и священник выразительно глянул на Никодима, мол, выбирай. От еды Никодим не отказывался, тем более что отцу Гермогену полагалась скидка как настоятелю храма, и добротный обед из первого, второго и компота выходил ему в считанные копейки. А ещё это негласно считалось частью оплаты за работу Никодима. Художник может творить на голодный желудок, а реставратор, Сальери от мира изобразительного искусства, – нет.

Едва на стол опустился тяжелый поднос с дымящимися тарелками, Никодим судорожно сглотнул вязкую слюну, заполнившую весь рот. Сейчас в окружении тёплых запахов, плотных, как ватное одеяло, он осознал, насколько голоден и неприкаян. Пришлось сбежать не позавтракав, пока мать была в душе. В последние дни она реагировала на любое его появление как цепная собака на непрошенного гостя, особенно, если он при этом ел что-то «купленное на её деньги, заработанные кровью и потом, пока он возится со своими иконами». Может не стоило так грубо отказываться от её предложения подработать в больнице, но сделай он хоть шаг

по её указке, так она непременно возьмёт его в оборот и запихнет в медицинский колледж, получать такую же тяжелую и неблагоприятную профессию как у неё самой.

«Ага, мечтай, родная», – с мрачным торжеством подумал Никодим и тут же смутился, услышав мучительный стон из собственного чрева.

– Прочтёшь молитву? – мягко спросил отец Гермоген.

– С радостью. Очи всех на Тя, Господи, уповают, и Ты даеши им пищу во благовремении...

Привычные слова шли неспешно, вдумчиво, хотя истощенный желудок сводило от голода долгой мучительной судорогой. Искушение плоти... До чего же оно сильно, сбивает его низменными болями и стенаниями от общения с Господом, опускает его до тела, до требухи с кишками и нечистотами. От этих мыслей Никодиму нестерпимо захотелось отказаться от еды вовсе, голодать до самого воскресенья и чистым, абсолютно чистым причаститься Святых Таинств. Но отказаться от угощения отца Гермогена, от его искренней христианской заботы о ближнем, не идущей ни в какое сравнение с высокомерными податями прочих, выставить себя лжемучеником, кичиться своей аскезой... Решено, он поест сейчас, а после примет строгий пост, и его подвиг будет тихим, не на показ. Как у черноризца.

– Аминь.

Отец Гермоген осенил их трапезу крестным знаменем, и они принялись за еду. Никодим ел и сглатывал наслаждение

со стыдом. Как же он слаб, ничтожен, подчинен собственному жалкому телу. Поэтому его дважды отвергли в московской семинарии, они почувствовали, что он не готов к служению Господу, ибо слушает только свое бrenное чрево, этот кожаный сосуд зла. Хотелось выбросить всё, что осталось в тарелках, в ближайшую мусорку, но так нельзя, это тоже грех. Пришлось через силу и мерзостное насыщение съесть всё до последней крошки. От живота до ледяных кончиков пальцев медленно растекалась сытая нега, которой Никодим предпочёл бы привычную ноющую пустоту.

– Как твоя мама поживает? – вдруг спросил отец Гермоген. Никодим напрягся. Меньше всего он хотел вспоминать о ней сейчас, в уюте церковной трапезной, когда напротив сидел человек, понимавший его так, как ей, его кровной родительнице, никогда в жизни не понять.

– Нормально. Работает, опять меня звала к себе, типа так проще потом будет выбить целевое в мед.

– Звучит славно. Помогать людям долг подлинного христианина.

– Я хочу помогать их душам, а не телам, отче, – ответил Никодим и в голосе против воли просквозил холод. – В этом году у меня обязательно получится поступить в семинарию. Я уже согласен на любую, не только на московскую, с моей стороны было страшной гордыней, когда я решил, что либо Москва, либо ничего...

– Никодим, а ты не думал, что Господь нарочно держит

тебя подальше от семинарии?

Судорога пронзила его насквозь. В груди засвербело что-то тёмное и зыбкое, как маленькое внутреннее болото.

Он не нужен Богу?

– Возможно, Господь направляет тебя на иной путь, не менее сложный и важный. Будешь помогать в больнице, со временем выучишься на врача, а по выходным будешь помогать в храме и заниматься реставрацией, если время останется.

– А если Господь испытывает меня? – с жаром и какой-то невнятной злобой откликнулся Никодим. – Испытывает, потому что я не был рождён в православии, я сам пришёл в Его дом и попросил Его истины, а теперь возжелал служить Ему всей своей жизнью. Это великая честь и я должен доказать, что достоин нести её. Пусть отвергают меня, я буду стучаться и однажды мне отворят. Такова сила веры, отче.

– Да, но пока тебе нужно на что-то жить, Димушка. Неужели тебя устраивает это? – отец Гермоген одарил его выразительным взглядом, в котором Никодим отчетливо, как в зеркале, увидел самого себя. Долговязый юнец с отросшими спутанными патлами и неухоженной клочковатой бородой, придающей ему сходство с бомжом или омолодившимся Григорием Распутиным. В запавших от недоедания глазах страх и злоба бездомной собаки, на сутулых плечах обноски, куча слоев ветхой одежды, надетых с одной целью – удержать в этом несуразном теле хоть капельку тепла. Ни-чтожество. И это в двадцать один год, когда прочие горят

румянцем и жаждой жизни, строят амбициозные планы на будущее и беззаботно наслаждаются каждым днём.

Вот только они, эти счастливчики, вкусившие всех земных наслаждений, будут страдать в Аду, а он войдет в Царствие Небесное и познает радость, которую они даже не могут себе представить.

– Я не бегу за мирскими благами, отче. К тому же, – тут Никодиму поспешил придать голосу смирения, граничащего с рабским заискиванием. – Вы говорили, что для меня есть работа. С иконами.

Если бы пришлось, он бы умолял отца Гермогена на коленях, елозил в пыли и грязных разводах растаявшего снега, лишь бы ему дали в руки любую, даже самую убитую, не имеющую никакой ценности икону и пообещали за её спасение пару тысяч рублей. И дело не в том, что с последнего заказа прошло больше месяца или он остро нуждался в деньгах. Всё так, но эти житейские мелочи меркли перед особенным, густым запахом лака и почему-то гречишного мёда, перед этим моментом, когда из-под вековой грязи и копоти возникал чистый первозданный образ, яркий как утренняя звезда, когда он оказывался наедине с вечным, со Святым, воплощенным человеческой рукой, с пронзительным и мудрым взором нечеловеческих глаз, когда он терял самого себя в служении...

Никодим никогда никому не говорил об этом, даже отцу Гермогену. Иконы были для него сродни наркотику. И

чем старше и хуже они были, тем сильнее он ловил кайф. В этом он напоминал своего ненавистного наставника, Николая Александровича, но тот наслаждался иконами как атеист, как циник, почти что сладострастник. Он не такой. Он слуга Божий.

Но, чего уж греха таить, деньги ему сейчас не помешают. Дать матери хоть что-то и, глядишь, она отстанет от него, а там лето, новое поступление. В этом году у него всё обязательно получится. Даже если не в Москве.

Сколько он ни убеждал себя в этом, горечь омывала сердце ядовитой волной. Он с девятого класса грезил о стенах Троице-Сергеевой лавры и представить не мог, что будет учиться где-то ещё. А видимо придётся.

– Работа есть, но на многое не рассчитывай. Сам знаешь, я даю тебе только то, что Николай Александрович одобрит. Он о тебе хорошего мнения, однако ты молод и ещё набиваешь руку. Поэтому, считай, это тебе в первую очередь опыта поднабраться. Одна икона вовсе от любого прикосновения разваливается. Ценности в ней никакой нет, специально для тебя взяли, так что, если загубишь её, то ничего страшного.

Никодим старательно слушал, но все мысли уже унеслись прочь, в скорое будущее, когда он закроется на замок в своей комнате, уберёт всё с письменного стола, зажжет лампу, купленную специально для реставрации, возьмёт в руки бережно наточенный скальпель и начнётся его собственная служба.

Хоть бы мать сегодня не вернулась с работы. Её вопли и стук в дверь не дадут ему полностью погрузиться в процесс.

В воскресной школе, желто–оранжевой пристройке возле храма, где по будням проводили лекции и курсы, а по воскресеньям учили приходских детей Закону Божьему, отец Гермоген выдал ему три небольшие иконы, бережно закутанные в ткань, словно новорождённые младенцы. Он слегка распеленал их, желая показать Никодиму грядущую работу, но с равным успехом он мог показывать их слепому. Никодим не любил и не умел знакомиться с иконами из чужих рук, ему нужно было оказаться с ними наедине, в тишине, разбавленной монотонным бормотанием какого-нибудь монашеского хора. Иконы были тем, чем они являлись на самом деле, только в стенах храма и на столе Никодима, вынеси их на улицу или, не дай Бог, положи на прилавок церковной лавки, они сразу же теряли своё золотое сияние, тепернюю теплоту, невыразимую насыщенность красок, особенно красной и синей, и превращались в обычные расписные деревяшки со смутно знакомыми ликами.

– Справишься?

– Как Господь управит, – с улыбкой ответил Никодим, глядя только на заветные свёртки.

Он нёс их сквозь поднявшуюся метель, сквозь пронзительный ледяной ветер с комьями мокрого снега, по серым улицам, прижимая иконы к груди, как Родион Раскольников – топор. Час он простоял на остановке в крошечной зим-

ней темноте. Нужная маршрутка, единственная едущая до его Варавинских, считай Вараввских, окраин, всё не подъезжала. Вокруг неповоротливой пингвиной стаей кучковались такие же бедолаги как он, но их озябшие туши покрывали длинные дутые пуховики с капюшонами поверх вязаных шапок, а его поддерживала только масляная благодать, сочившаяся сквозь старое тряпье прямо в сердце. Господи, скорее бы оказаться дома, скорее бы взяться за скальпель...

Не выдержав, Никодим зашагал по знакомому маршруту. Пешком при такой поганой погоде он доберётся домой часа за два, если не утратит бодрости походки. О такси и речи не шло. Отдавать за проезд деньги, на которые он может прожить неделю? Расточительство. Он пройдёт этот путь своими ногами вопреки всему, телу, снегу, усталости, как проходили путь к Богу святые минувших веков. На секунду Никодиму захотелось остановиться и снять кроссовки вместе с носками и дальше идти босиком, обжигая ступни льдом и колючей россыпью реагентов, осколков, заледеневших окурков. Страдать. Страдать каждым мигом своей жизни, каждым шагом, каждым секундным помыслом. Страдать и нести в отмирающих руках иконы, такие же побитые жизнью и потускневшие, как он сам.

Нести их как крест.

На середине пути окончательно разрядился телефон, и для Никодима потерялось время. Тьма, снег, потрескивающий свет высоких фонарей, желтые глаза многоэтажек, в

некоторых ещё мигают праздничные гирлянды, хотя праздники давно лежат на помойке вместе с полысевшими ёлками. Иногда попадались огромные витрины магазинов, в которых, как рыбы в аквариуме, проплывали уставшие люди. Это единственный маркёр, что ещё не глухая ночь. Мечты о босой прогулке по снегу воплотились самым мерзким образом: от левого ботинка частично отслоилась подошва и вязкое холодное месиво просочилось внутрь. Пальцы намертво вцепились в иконы, сейчас их не получилось бы разжать даже железными щипцами. Горло свербело от пронзительного воздуха, в нём медленно зарождалось очередное воспаление. Снег на усах медленно таял от близости сухих, изъязвлённых губ.

Мимо проехала нужная маршрутка, под завязку набитая народом. И на секунду Никодим проклял все духовные подвиги и возжелал оказаться в их тёплой потной тесноте.

Домой он вернулся на последнем издыхании. Подъезд встретил его привычным затхлым запахом. Восьмой этаж. Лифт сломался ещё в его школьные годы и с тех пор ждал починки. Окоченевшие ноги со скрипом сгибались в коленях. Обшарпанные стены цвета зелёной советской тоски. Лестница вверх, тяжелая и бесконечная. Где-то вверху мигает недосягаемый свет. Четвёртый этаж, пятый... На окнах бесхозные цветы в горшках, одному Богу известно, кто заботится о них. Седьмой этаж. На лестничной клетке картонная коробка с грязным одеяльцем. Внутри миска с водой, блюдечко с

подсохшим паштетом и едва живой блохастый котёнок.

С трудом Никодим расцепил красные от мороза пальцы и, наклонившись, поставил иконы к стене. Котёнок заворошился. Призывно зашуршала яркая упаковка кошачьего корма, и в блюдечко как из рога изобилия плюхнулись красно-коричневые кусочки мяса с каким-то резко пахнущим соусом. Пронзительно завопив высоким детским голосом, котёнок бросился на подачку и яростно заработал челюстью с мелкими белыми зубами. Не гляди что тощий и полудохлый, рычал он как полноценный тигр. Никодим усмехнулся. До весны этот бедолага не доживёт, кто-нибудь из местных бабок рано или поздно вынесет его на помойку, чтоб не вонял, а к себе забрать не вариант. Если бы он спасал всех окрестных подкидышей, то давно бы оказался вместе с ними в подъезде.

– Ну бывай, брат, – напоследок пожелал Никодим и, взяв иконы, пошёл наверх. Дверь в квартиру поддалась не сразу, ясно давая понять, что ему тут не рады. Внутри царил натопленный полумрак, с кухни несло суетой и тушеным мясом, шаркали мамины тапочки. Уложив иконы на тумбочку с зеркалом, Никодим быстро разулся, повесил мокрую от снега куртку на крючок, и, подхватив драгоценную ношу подмышку, двинулся к своей комнате, как вдруг дрызгнула кухонная дверь и шарканье дошло до него.

– Я не могла до тебя дозвониться.

– Батарейка села.

– Что, прямо утром?

Никодим нервно пожал плечами. Ах да, точно, он так и не снял телефон с режима «Не беспокоить» и все материнские звонки пролетели мимо.

– Где ты был, Дима? Почему нельзя было оставить хотя бы записку? Я же видела, твоя куртка висела здесь, когда я вернулась, а потом раз – нет ни её, ни тебя.

От старого имени его перекосило как от глотка лимонной кислоты. Сколько раз он говорил ей, что отныне его зовут Никодим, в честь святого Никодима Кожезерского в чей день он родился. Но её это не заботило, даже когда правильное имя оказалось закреплено в паспорте. Она только покрутила пальцем у виска и сказала, что хотя бы ради фото можно было побриться, а теперь ходить ему до сорока лет с лицом бомжа на документах.

Никодим по-волчьи глянул на неё исподлобья. Вот она, его мать – мерзкая вздорная тётка с заплывшим лицом и вытравленными блондинистыми кудрями, прямо–таки постаревшая Мерлин Монро постсоветского разлива. Тело из трёх кругов жира (грудь, живот, бёдра) обтягивал голубой спортивный костюмчик с инфантильными пайетками. В руках она всё ещё сжимала деревянную лопатку с налипшими кусками лука.

– А это что за тряпки? – цепкий взор матери наконец ухватился за вечное яблоко их раздора.

– Иконы на реставрацию, – буркнул Никодим и приготовился к бою. В который раз это происходит? Уже могла сми-

риться и перейти в состояние холодной войны с агрессивным молчанием и нарочито громкими жалобами подружкам, таким же больничным кошёлкам без высшего образования. Но нет, обязательно нужно потрепать ему нервы на счет раз, два, три...

– Опять вся квартира твоей химией вонять будет! Дима, не лето же, окна надолго не откроешь проветрить! Если ты им так нужен, почему они не могут дать тебе какую-нибудь комнату под мастерскую? Твой Николай Александрович, насколько я помню, не на дому работает, а ты что, много места занимаешь?

– У нас графики не совпадают, а мне одному ключ не дают.

Ложь. Ему десять раз предлагали работать под боком у Николая Александровича, в том самом кабинете, где он постигал основы реставрации вместе с дюжиной учеников разного возраста и происхождения, но там он всегда был подмастерьем, желторотым цыплёнком без права голоса. Даже если Николай Александрович не лез со своим бесценным мнением, его пристальный взор профессионала буравил его затылок и плечи красной точкой снайперской винтовки. В таких условиях невозможно с головой уйти в иконы, под все слои лака и краски до самой сути, скрытой под белоснежным сыпучим левкасом. А без этого нет смысла вообще браться за дело.

– Да какой у тебя график, тунеядец? Целыми днями или

в своей комнате запираешься, или шляешься невесть где! Сколько раз я тебе говорила: не хочешь учиться – иди работай, и не обязательно ко мне в больницу. Просто делай со своей жизнью хоть что-нибудь!

– Я готовлюсь к поступлению в семинарию. Там полный пансион, больше ты на меня ни копейки не потратишь.

– Димочка, я эту песню уже третий год подряд слышу. Ну поступишь ты, и что? У нас в области семинарий нет, я справки наводила. Билет на какие шиши покупать будешь? Я тебе помогать не стану, не для того мой дед с этим мракобесием боролся, чтобы я сейчас твои поповские дела оплачивала.

– Вообще–то мне за реставрацию платят.

Мать разразилась громким хабалистым хохотом.

– Платят? Да тебе объедки с барского стола кидают! Я ради интереса загуглила сколько за твою возню с иконами получают. От десяти тысяч, Дима! И это, как я поняла, чисто внешний лоск навести. А твой поп сколько тебе даёт? Пять рублей на мороженое?

Её голос настиг его даже сквозь грохот двери.

– Мне всё равно, что ты там делаешь, Димочка, хоть шаржи в парках рисуй, только бери за это столько, сколько положено, а не горбаться за спасибо!

– Кто бы говорил, ма! Или у нас медсёстры теперь бабло лопатой гребут?

Это было низко с его стороны, но она сама напросилась.

Больше всего Никодим терпеть не мог лжеучителей и самозванных наставников, громогласно рассуждавших о вещах, в которых ничего не понимали или ошибались покрепче тех, кого они взялись учить. Хотя, даже будь его мать не грошовой медсестрой, а каким-нибудь терапевтом, её мнение его интересовало в последнюю очередь. Все её интересы и тревоги крутились вокруг мирского, сиюминутного. Где закупиться подешевле, но чтобы продукты были свежие, что из них приготовить на неделю вперёд, где затянуть пояса, чтобы на весенних распродажах взять тёплую куртку и сапоги на следующую зиму, снять показания счётчиков день в день, не дай Бог просрочить, когда выкрасть время и сходить в ближайшую парикмахерскую, обновить кудри и желтоватый блонд за пятьсот рублей по знакомству, а то и сделать маникюр на своих коротких толстых пальцах, розовых как переваренные сосиски. Иногда она выползала на свидания с какими-то мужиками, похожими на одряхлевших кабанов, толстошеих, с поседевшей щетиной на круглых харях.

В такие вечера презрение к ней становилось совсем невыносимым. Эти её хмельные глаза, густо подведённые рассыпчатой тушью, терракотовые губы в мечтательной полуулыбке, липкий запах Шанель, подаренной подружками на сорокалетний юбилей, единственное приличное платье, тёмно-красное, из плотной ткани, удачно превращающей её телеса в подобие женской фигуры.

Она предпочла блуд вдовьему смирению. Мерзкая нена-

сытная самка.

Отвращение поднялось по горлу тёплым варевом. Отста-
вить. Забыть. Мыслями о матери, ненавистью к ней он омра-
чает свою душу, ввергает её во грех. Хотя, тут как посмот-
реть, как истолковать. В сознании большинства живет лишь
удобная рабская заповедь почитать отца и мать своих и её
достаточно, чтобы закрывать рот молодым и неугодным. Од-
нако сам Господь возвестил, что враги человеку – домашние
его. И сказано было в Евангелии: «Если кто приходит ко Мне
и не возненавидит отца своего и матери, и самой жизни сво-
ей, тот не может быть Моим учеником».

Всё так. Никодим возненавидел всё: и покойного отца, и
живую мать, и самого себя, чтобы любить только Господа,
мудрость и волю Его. Он стал мечом в Его руках, крошечным
лезвием, снимающим вековую грязь с Его лика.

Непросто так он избрал реставрацию икон. Он никогда не
тешил себя горделивым мечтанием создавать образы Божьи,
возвеличивать славу Его в золоте и темпере, покрывать её
благоуханной олифой, словно густыми потоками искренних
слёз. Нет, он создан очищать Истину, соскребать с неё слои
человеческого заблуждения, высокомерия, самолюбования,
их примитивных замыслов, и являть её в первозданном ви-
де. Кто-то скажет, прежде было лучше, ярче, глубже, но они
глупцы, привыкшие ублажать глаза, а не души.

Они идолопоклонники под личиной православных хри-
стиан.

С тяжелым гулом самолёта, набирающего высоту, включился старенький компьютер. Тьму комнаты осветила синяя заставка, но быстро померкла. На обои он поставил пустую чёрную картинку, строгую и смиренную как монашеское одеяние. Щёлкнул на сайт с музыкой, единственное место в сети интернета, где у него водился аккаунт, и включил подборку хора Соловецкого монастыря. Его низкая хрущёвская келья наполнилась бархатными раскатами сильного голоса, которому вторило высокое ангельское многоголосье, рвущееся ввысь, за пределы этой бедной кирпичной лачуги. На сердце потеплело. Если сконцентрироваться на пении, мир по ту сторону двери пропадает, и уже нет ни сердитого шарканья материнских тапок, ни докучливого запаха тушенки.

Никодим затеплил лампаду в красном углу, раскурил ладан, похожий на конфеты монпансье, продававшиеся в таких же жестяных коробках, положил свёртки с иконами на кровать и встал на колени. Помолился. Терпкий, плотный аромат ладана окутал всё пространство. Огонёк в лампаде бликовал длинными диковинными лучами, словно звезда. Никодим всегда хотел работать при свечах, склонившись над своим кропотливым трудом и бормотать что-то в духе ещё одного, последнего сказанья. Но реставрация требует хирургических условий: яркого электрического света, острого скальпеля, чистых латексных перчаток и твёрдой руки.

Скрепя сердце и закрыв глаза, Никодим щёлкнул пере-

ключателем. Слава Богу, мать не додумалась заявиться сюда и навести свои порядки, хотя постоянно угрожала. Это его комната, и она выглядит так, как он считает нужным. Разворошённая кровать, свалка одежды на компьютерном кресле, пыльные полки с духовными книгами, пятна масла и воска на полу и по всюду, по всем стенам – иконы, иконы, иконы, словно это не жилая комната, а часовня. Ценных среди них не было, в основном его «подопытные кролики» и подарки от прихожан, ездивших в паломничества по святым местам. Среди потемневших деревянных образов затесалась парочка новодельных, глянцево–красочных картинок с конфетной позолотой. Их он не жаловал, но избавиться не решался. Хуже них только пластиковые иконки в машинах и маршрутках или китчевые открытки в мессенджерах.

С кровати Никодим перенёс иконы на единственное безукоризненно чистое место – на рабочий стол. Над ним цаплями нависли три лампы, снизу расположился широкий ящик, набитый всем необходимым для реставрации. За годы древесины пропиталась запахами желчи, лака, растворителей, масел и скипидара. Сегодня он вряд ли возьмётся за инструменты, время позднее, придётся ограничиться осмотром, а завтра с первыми лучами солнца уже уйти в работу. Но с какой иконы начать?

Под рёбрами приятно защекотал детский восторг, наивное ожидание чуда. Икон было три, все примерно одного размера, с альбомный лист, одна поменьше, с книжку. Именно

её отец Гермоген назвал пропащей, и тем больше интереса она возбуждала, но Никодим не спешил прикоснуться к ней. Медленно, мучая и закаляя себя, он распеленал две другие.

Первая. Богоматерь с младенцем, Елеуса, умиление. Сделана в конце прошлого века на волне перестроечного увлечения православием, хороший закос под старых мастеров, безукоризненное соблюдение канонов, лак потемнел, следы копоти и масла, типичная домовая икона, которую решили почистить. Неудивительно, что Николай Александрович перекинул ему эту работу, где тут разгуляться лучшему реставратору Севера? Пусть ученик халтуркой забавляется. Никодим сцепил зубы. Нельзя так. Он должен благодарить за любую возможность соприкоснуться с иконой, он всего лишь закончил любительские курсы, а не полноценное обучение. Нечего кривить рожей.

Вторая. Николай Чудотворец. Предвкушающая улыбка на лице Никодима зачерствела, меж бровей пролегла напряженная складка. Ещё одна домовая икона, но постарше, вторая половина девятнадцатого века, уже проходила через руки реставратора, причём не особо умелого. Потери в золотом нимбе восполнили дешёвой фольгой, взятой из-под каких-нибудь конфет типа Ферреро Роше, горемыка даже не удосужился состарить её хотя бы бифунгином. По краям белел левкас, но это не критично, главное, что не пострадал лик самого популярного русского святого. Печальные глаза, сахарно-белая округлая борода, изящная рука, поднятая в благо-

словении. Раньше, рассказывал Николай Александрович на курсах, в русском доме могло не быть лика Спасителя или Богородицы, но обязательно был святой Никола, заступник людей перед Богом. Что-то таилось в нём такое родное, отеческое, отчего вчерашние язычники предпочитали идти со своими просьбами и горестями к нему, а не напрямую к Господу. Правда, они же потом могли натурально выпороть икону, если святой оставался глух к их молитвам.

Трусливые дикари. Неважно, кланяются они иконам или деревянным истуканам, вера для них заключалась в материальном, в подачках свыше и всевозможных земных благах, а не в духовном подвиге, не в мучительном, выстраданном диалоге с Богом внутри своего сердца, не в *сокровищах на Небе*. И святой Николай Чудотворец стал их невольным идолом.

Набор выходил скучный, что по работе, что по содержанию. Николе обновить лак, исправить чужие ошибки, восстановить потери по краям и всё. Попади к нему в таком же состоянии Страшный Суд, Неопалимая купина или Усекновение главы Иоанна Предтечи – Никодим вознесся бы на Небеса от радости. В начале декабря ему дали повозиться с Поклонением волхвов, и он смаковал каждый миг, проведённый с этой иконой. Любовно заполнял самой насыщенной, кобальтово–синей краской потрёпанное одеяние восточных царей, вернул благородство их пурпурным плащам и сияние нимбам над головами Богородицы и младенца Христа,

невероятно яркое в сравнении с блёклыми венцами земных правителей. О редкостях вроде Спас Око Недрёманное или о жутковатом, мистическом Всевидящем Оке он и помыслить не мог, хорошо, если удавалось посмотреть, как Николай Александрович колдует над ними в своей просторной, переполненной светом мастерской.

Последние надежды держались на свёртке с убитой иконой. Никодим взял краешек ткани и распахнул его, словно открывая лицо новорождённого младенца.

– Да вы издеваетесь...

В тряпье лежал Димитрий Солунский. Молодой, безбородый, на красном боевом коне. Его лжепокровитель.

Никодим глубоко вдохнул тяжелый ладанный воздух. Прочитал краткую молитву. Выдохнул.

Если бы он хорошо ни знал отца Гермогена, решил бы, что это злая насмешка. Сколько он убеждал его при крещении остаться Дмитрием, но он настоял на Никодиме, странном имени, принадлежащем монахам и раскольникам. Оно пришло к нему само, как пришло к святому Никодиму Кожезерскому, и он безропотно принял его. Отец Гермоген, конечно, посмотрел на него как на блаженного, когда он озвучил свой выбор, но в итоге смирился. С неофитскими причудами он сталкивался не впервой на своём пасторском веку.

Икона и вправду находилась в плачевном состоянии, это бросалось в глаза с первого взгляда. Тёмная, ободранная, с трухлявыми отверстиями от жуков-древоточцев, она рассы-

палась на руках ветхим покойником. Красочный слой, довольно халтурный, близкий по уровню изобразительного искусства к пушистому Иисусу, отходил при любом прикосновении. И как с ней работать? Чему вообще Никодим может научиться с этой рухлядью? Смиряться со своим реставраторским бессилием?

А ведь Николай Александрович и не таких к жизни возвращал, не зря его что ни месяц на Соловки зазывали поработать над очередным разваливающимся шедевром, пережившим огонь, воду и советскую власть. Однажды он даже перенёс тонкий срез красочного слоя на новую доску, потому что старая сгнила до последней щепки. По сложности и напряженности операции это было сравнимо только с пересадкой сердца, одно неверное движение – и всё потеряно, а икона датировалась пятнадцатым веком и негласно звалась «первым ликом Севера». Куда Никодиму до такого мастерства?

Горечь и какая-то неистовая жалость к почти уничтоженному образу затопили душу. Неважно, что святой Димитрий Солунский не отзывался в нём ничем, кроме постыдной памяти о нехристианском прошлом, видеть икону в таком состоянии – невыносимо до слёз. Когда-то кто-то вложил в неё свои духовные силы, своё скудное, но искреннее мастерство, изобразил значимого для себя или ближнего святого при невозможности купить более искусную работу, а теперь отголосок «малых сих» обрекался на забвение в недрах его

жалкой комнатухи.

– И что же мне с тобой делать? – пробормотал Никодим и аккуратно подцепил кусок отваливающейся краски, будто чешуйку омертвевшей кожи. Раздался тихий треск. Кусок с жёлтой, даже не позолоченной, частичкой нимба и краешком лица отломался от иконы, но под ним не оказалось меловой белизны или потемневшего дерева. Там была краска.

Сердце резко сжалось. Холодок прошёлся по спине. Никодим увидел фрагмент нимба, но другого, острого, как неопалимая купина или Вифлеемская звезда. Медно–рыжий, с алой каймой, цвета насыщенные, чистые, они переливались на свету, словно иконописец только покрыл их свежим лаком. В них таилось что-то причудливое, непривычное. Чужеродное.

Ледяной пот росой выступил на висках, пара капель скатилась в бороду. Никодим отступил назад, по-прежнему сжимая в пальцах обломок красочного слоя. Ему рассказывали об этом на курсах, пару таких икон раскрывал Николай Александрович, но сам он никогда даже не прикасался к ним. Икона с потайным изображением.

В груди зашёлся барабанный бой, ему вторили напевы незримой монашеской братии. Господи, дай мне сил, вложи в мою неумелую руку искусство отделить зерна от плевел, позволь мне обнажить истинный облик этой маленькой забытой иконы. Глядя на один лишь фрагмент острого нимба, Никодим отчётливо осознавал: эта икона несла в себе нечто

особенное и... тёмное?

Восторг сливался с невыразимым, тупым страхом, какой бывает при взгляде в пропасть. Ты не собираешься прыгать вниз, ты же разумный человек, держишься на безопасном расстоянии, но что-то внутри тебя, какой-то тонкий голос понимает: у Пропasti своя воля.

И Она заберёт тебя, если ты хоть на миг откроешь брешь в своей душе.

Одним резким движением Никодим закрыл икону тканью. Не сегодня, уже поздно, и он даже не знает, как к ней подступиться. Для начала обезжирить спиртом, это понятно, а дальше? Если он решил избавиться от верхнего красочного слоя, то смысла закреплять его клеем нет, но что, если тогда пострадает нижний слой, если он просто отшелушится следом? Может быть пройтис ацетоном или другим растворителем, предварительно смешав его со скипидаром? Мягонько, ваткой, где-нибудь с краю, посмотреть, как себя поведёт краска... Никодим обнаружил, что судорожно бродит туда-сюда по комнате, на ходу подбирая ключи к таинственной иконе.

Пики остроконечного нимба глубоко вонзились в голову. Что подобный нимб вообще забыл на иконе с Димитрием Солунским? В православной традиции такой встречался только у Бога Отца, и то все его изображения в виде седого старца считались неканоничными, ибо Создатель Непостижим. И даже в таких образах звезда состояла из двух квад-

ратов, наложенных один на другой, а в одном только открытом фрагменте лучей было трое, и они тянулись длинными острыми копьями. Как у солнца.

Что за чертовщина... А если это старообрядческая икона, которую переделали под православную? Ересь раскольников, неумело возвращенная в лоно истинной Церкви.

– Дииим, ты есть будешь?

Протяжный кошачий голос матери стеганул по затылку. Необдуманно, на грани инстинктов Никодим бросился к столу, к двуликой иконе, желая закрыть её собой, как нечто постыдное или преступное. Какая глупость, он всегда первым делом закрывал дверь на замок, если эта слониха не вздумает её выносить, бояться ему нечего. Да и что она вообще понимает в иконах? Для неё что праведный лик, что откровенное кощунство – всё «мазня».

– Не буду! – гаркнул он в ответ и выключил лампы над столом.

Дождался, пока хлопнет дверь материнской комнаты и квартира погрузится в ночное безмолвие, и только тогда вылез помыться. Из заляпанного зеркала на него таращился иконописный мученик с зубной пастой на неопрятной бороде. Мокрые пряди тёмных волос обрамляли скуластое лицо, поганисто-бледное, с кругами под холодными глазами, то ли серыми, то ли голубыми. Ничего живого в нём не осталось, свежий мертвец, от которого никак не отойдёт душа.

Стричься Никодим терпеть не мог, у самого выходило

криво, а в парикмахерских и пафосных барбершопах его норовили превратить в очередного смазливового бородача с бритыми височками и петушиным гребнем на голове, хотя он только просил подравнять. Пахло в таких заведениях отвратно. В парикмахерских – дешёвыми одеколонами и лаком, так и мерещилось, что рядом бродит мать. В барбершопах – кофейными зёрнами и дымком, хотя никто из его посетителей давно не курил настоящие сигареты, лишь электронные подделки. В первом случае чувствовался женский флёр экономкласса, во втором – вымученный мачизм, прикрывающий банальную неуверенность в себе. Никодим не принадлежал ни к одному из этих миров.

И даже в стенах родной церкви его внешний вид вызывал насмешки, особенно среди молодёжи. Он больше походил на одичалого раскольника, ищущего ближайший сруб для самосожжения, чем на добропорядочного православного двадцать первого века.

Неважно. Тело – это лишь сосуд греха. Чем меньше он радеет о нём, тем больше сил остаётся на спасение души.

Унеслась к Богу вечерняя молитва. Чадил огонёк в лампаде, освещая лик Спасителя. Никодим засыпал в привычном мареве ладана, дерева и мысленных бесед с Господом. В горле свербел сухой кашель, но память о пережитом холоде убаюкивала долгожданным спокойствием. Он у себя, в тепле, вдали от суетного безжалостного мира...

Вдруг его сладкую дрему пронзила раскалённая игла. Что-

то не так, что-то изменилось, будто сквозняк проник через заклеенные окна. Никодим ворочался в постели, но сон не шёл к нему. Внутри гнойным нарывом зудело нетерпение, и ноги судорожно дергались, стремясь сделать шаг.

Икона с потайным изображением. Она взывала к нему, дразнила тайной, словно плод познания Добра и Зла. О, искушение! Ведь не может же он посреди ночи взяться за неё, даже не зная, с чего вообще начать...

Впервые в жизни с Никодимом случился паморок. Он не осознавал себя, просто наблюдал со стороны, как в компьютерной игре от первого лица. Узловатые руки с набухшими венами, скальпель, стол, свет, две иконы на полку, третью – в центр, раскрыть её, подставить под электрические лучи.

В старое стеклянное окно кулаком ударил ветер с Онеги. Он выл смертельно раненным зверем. Или заложенным покойником.

Отточенное лезвие срывало красочный слой как запёкшуюся кровавую корку с раны. В одних местах покрытие слетало само, стоило его чуть поддеть, в других приходилось протискивать скальпель в узкую расщелину, затаивать дыхание, а не пострадает ли изначальный образ? Стол дрожал от натиска, и Никодиму казалось, он не раскрывает икону. Он вырывает её из когтей небытия.

Пот стекал по его нагому жилистому телу. Во рту пересохло, и также сухо стало в голове. Ни единой мысли. Он весь был на острие ножа.

За соседней стеной запищал будильник. Пять утра, конец ночи, хотя за окном по-прежнему тьма.

От верхнего слоя краски не осталось ни единого кусочка. Подлинный образ, намертво вживленный в разваливающуюся доску, предстал Никодиму во всём своём багряном великолепии. В нём не было ни единой трещины, ни единого тёмного пятна, как не было ничего святого.

Подлинный лик иконы зиял невыносимой скверной.

Пина на маковом поле

Табак заканчивался раньше положенного, приходилось сворачивать совсем тонкие самокрутки, прямо девичьи Кисс или вишнёвый Ричмонд, только без сладкой отдушки. Рука тянулась добавить листья чёрной смородины или дикую коноплю, спокойно растущую среди остального южного разнотравья. Травки реально хотелось, немного, чисто расслабиться и отпустить голову в полёт. Может, высушить немного на солнце и попробовать? До смерти—то не отравится. Пина вяло размышляла об этом, сидя на сколоте берегу за домом Сандровича. Сидела ровно напротив чёрной церкви и медленно раскуривала четвёртую самокрутку за день.

Скука смертная. За три дня она обошла весь хутор вдоль и поперёк. Кроме церкви, единственного магазина и небольшого пляжа у реки пойти некуда, разве что в поля. Безделье, отсутствие привычных книг и интернета убивало, время тянулось как жилы у казнённого на дыбе, а водитель, с которым Сандрович обещал договориться, на выходных так и не приехал.

— Загулял, — бесхитростно буркнул Сандрович, когда Пина напомнила об уговоре. — У него это бывает. Однажды уедет с концами, подальше от этого проклятого села. Он ещё молодой, чего ему тут ловить?

— А если однажды это сейчас?

Подавленная паника набирала силу. Не дай Бог ей в самом деле придётся выбираться из этого захолустья своими силами. Прежнюю уверенность развеяло по растрескавшейся степи. Устав от хутора уже на второй день, Пина, не прощаявшись, ушла по тем же вытоптаным колеям и добралась до трассы. Села, принялась выжидать.

За целый день мимо не проехало ни одной машины. Вообще ни одной. Воистину мёртвый угол.

Вечером пришлось вернуться. Старики ничего у неё не спросил, будто предвидели как её побег, так и её фиаско. Пина бросила рюкзак в угол и невольно посмотрела в окно. Даже в темноте далёкая церковь проступала тонким острым призраком. Чернее самой ночи.

– Вернётся он, не парься. У него жена отсюда никуда не уедет, пока мамку не схоронит, а та даром, что за восьмой десяток перешагнула, на тот свет не торопится. Гоняет их обоих и в хвост, и в гриву по своим грядкам. Та ещё домохозяйка.

В чужом доме, даже при самых радушных хозяевах, Пина остро ощущала себя приبلудной собакой, а в крошечном хуторе, где все друг друга знали с рождения, – собакой дикувиной уродливой породы, вроде мексиканской ксоло. Гулять по пеклу ей не понравилось, кожа быстро обгорала даже под слоем солнцезащитного крема, а в утренние и вечерние часы за ней следом неслись пересуды и чужие взгляды. Первое время она просто игнорировала их, но скоро её до

смерти утомили пустые разговоры, презрительный интерес к «лысой москвичке», поджатые старческие губы, охи—вздохи, кривотолки, мелкий помол костей. Обычно Пина умела нравиться людям, даже несмотря на свою специфическую внешность, без этой способности в автостоп лучше не соваться, но здешние люди не терпели ничего чужого. Слишком долго варились в собственном прокисшем соку.

Единственными пристанищами ей служили комната покойного Юрочки, высохшее дерево на холме и кусок дикого пляжа, скрытый от досужих глаз порослью камыша и осоки. Река там сразу обрывалась в глубокую илистую яму, затянутую зелёными водорослями и ряской. От дерева отлично просматривалось маковое поле, а на берегу она оказывалась ровно напротив чёрной церкви.

На заре и на закате вокруг покосившегося купола вились острые тени ласточек, словно неупокоенные души. В алых небесах тьма проступала отчётливо и гордо, она наслаждалась своим обветшалым величием, словно вдова потемневшим серебром. Хотелось добраться до неё и рассмотреть вблизи, но на тот берег не вело никаких мостов, а местные рыбаки плавали лишь до середины реки. Пина пыталась договориться с ними, но они оказались упрямы как ослы. Нет и нет, даже причины нормальной не назвали. Может, не хотели с ней связываться, чтоб не прослыть среди своих прокажёнными. Может, просто невзлюбили её с первого взгляда. В любом случае вход в лодку ей был закрыт.

– Скучаешь, Москва? – спросил Сандрович, сытый и довольный после ужина. Достал из кармана трубку, набил её табаком и неспешно, со знанием дела раскурил. Три идеально ровных колечка дыма полетели в серо-розовое вечернее небо.

– На церковь вашу люблюсь, – нарочито безразлично ответила она. – Старая, наверное?

– Старая, да только не наша она. Поганая.

– Поганая? Почему?

– Да поди разберись, дела давно минувших дней. В моём детстве её все Гришкиной звали, ей лет больше, чем этому хутору, но кто её поставил и зачем без понятия. На том острове люди никогда не жили, маленький он и дурной, гиблый, там только Гришка–дьявол выжить мог.

Сандрович задумчиво затыкнулся. Обнаждённая Пина подвинулась к нему ближе.

– А кто был этот Гришка?

– Кто–кто, конь в пальто. Вернее, в рясе. Монахом он был... ну, как монахом? Одно название да ряса эта чёрная. Я его мельком застал, когда у бабки своей гостил. Мы–то с родителями в станице жие, при колхозе, батя ветеринаром работал, хорошая профессия по тем временам, не то, что сейчас, кошечек да собачек тянуть, пока лапы не отвалятся. Бабку к себе зазывали, но она ни в какую дом оставлять не хотела. Сил в ней таилось немеряно. Сама скотину держала, огород огромный разбила, сама все дела по дому справляла,

дрова на зиму готовила, с печкой возилась, так ещё успевала вязать на всю хуторскую ребятню! Охоту только не любила, до самой смерти от выстрелов вздрагивала. Деда моего у неё на глазах застрелили, в годы войны сюда какую-то фашистскую сволочь занесло. Вот тогда их с Гришкой судьба и свела. Он к тому моменту уже прочно обосновался на том берегу, а когда только объявился на хуторе, к нему казаки с разговором пришли, мол, кто таков, чего ищет. Думали, каторжник беглый или ещё какой проходимец, а оказался монах—отшельник. Тогда от советской власти многие на юга и на севера бежали, или в горы уходили. Ну, казаки поговорили с ним, видят, что человек действительно Божий и разрешили остаться. А он, бес такой, той же ночью на остров перебрался, прямиком к поганой церкви. Пытались его выловить, да ни в какую, лес схоронил. Злой там лес, бесовский, за час насквозь пройдёшь, но если начнет водить, то живым ты оттуда не вернёшься. В молодость мою была у нас пара таких смелых охальников, красавцы—комсомолыцы, всё им хотелось до церкви добраться и сжечь её, чтоб глаза не мозолила. Уплыли на лодке, нам с того берега помахали, вошли в лес и больше их никто не видел. Ходили искать, да без толку, только значок «Миру мир» на тропинке нашли. Как сквозь землю провалились.

Ледяные мурашки пронеслись по позвоночнику. В шуме реки слышался тихий смех. Пина поёжилась.

— Жуть какая. Поэтому туда никто не плавает?

– Жизнь дороже рыбы, Москва. Даже осетра и селёдки, хотя, говорят, у того берега зверь, а не рыба плавает, огромная, откормленная. Ну да ладно, про Гришку же тебе говорил. На деда моего в тот день какая-то блажь нашла, с раннего утра суетился, мешок собирал, будто в дальнюю дорогу, и еду, и питьё, и всякие ценности туда бросал, а потом протянул мешок моей бабке и сказал: «Бери детей, Ксенька, и отправляйся на остров. Три дня там будьте, а потом возвращайтесь. Днём больше, днём меньше – беда настигнет. Не дури». Спорить с ним нельзя было, нрав что камень. Бабка с детьми только отчалила, как налетела эта сволочь фашистская. Деда тут же у забора и положили. Хорошие соседи навели, кто на хуторе самый зажиточный. Себя не помня бабка гребла по бурной реке, едва успевала за детьми следить, чтобы за борот не упали, и всё боялась, что за ними вдогонку бросятся. Так и вышло. Ей повезло, фрицы сначала дом перевернули, только потом, когда не нашли ничего, за ней кинулись. Она успела худо-бедно до острова доплыть, а там их Гришка дождался, будто уже знал обо всём. Увел к себе в землянку при церкви, обогрел, накормил. Прятались они три дня, как дед наказал. Каждое утро и каждый вечер Гришка уходил в церковь служить, а бабка за ним увязывалась. Деда моего отмаливала и за детей просила. Сама потом объяснить этого не могла. У нас же, верующих, как? Нет храма да икон – молись на Восток, Бог всё равно услышит. А её в поганую церковь потянуло и ладно бы один раз, так все три дня хо-

дила! Все выжили, а когда домой вернулись, больше не трогал их никто. С той поры бабка постоянно к Гришке навещалась с едой да одежкой. Веришь, в сорок четвёртом году реку намертво сковало, так она по льду перешла. При этом ненавидела его лютой ненавистью, если упомянет ненароком – тут же плюется и крестится, но добра всё равно забыть не могла.

Пина слушала его как зачарованная. Казалось, чёрная церковь на том берегу тоже прислушивалась к рассказу старика. Склонила голову и внимает, не соврёт ли? Но Сандрович замолчал и просто курил, весь уйдя в себя. Лицо его страшно постарело.

– Вы сказали, что видели этого Гришку. Каким он был?

– Ничего интересного. Обычный старик, только дикий и юродивый. Когда я с ним встретился, ему уже лет сто было, не меньше. На ладан дышал, бедолага, спины разогнуть не мог, не видел ничего, а всё равно службу свою нёс. Мы как раз с бабушкой его за молитвой застали. Я удивился, что это такое он делает? На коленях стоит, поёт непонятные песни своим чахлым умирающим голосом, крестится, кланяется, всё к облезлой картинке на стене обращается. Для меня, советского ребёнка, который в обычную церковь ни разу не ходил, это было ужасно смешно, прямо цирк на выезде. Там тоже клоуны постоянно падали и лбами об пол бились. Ну я и засмеялся. Бабуля меня такой оплеухой огрела, в жизни не забуду, а Гришка ей и говорит: «За что малого обижаешь?»

Правильно он смеется надо мной. В обрядах я погряз, делаю лишь бы делать, молитвы аки скороговорки тарабаршу, позабыл совсем, зачем Господарев перст меня призвал. Столько лет в гордыни прозябал, почитал себя избранным, а так никого в Господарево Царство не привёл».

«И не приведёшь, – ответила бабка и крепко стиснула мою руку. – Иное время настало, люди в истинного Бога не веруют, не то что в твоего беса. Покаялся бы ты сам, пока время есть, а других в свою ересь не тащи. Даст Бог, помрет она вместе с тобой».

Гришка улыбнулся только.

«Коль всё так просто было, матушка, померла б моя вера задолго до меня, да видишь, не умирается ей. Господарь своего человека всегда зовёт на службу, и после меня найдётся, кто ему послужит верно. Мне бы только правду оставить, пока не поздно. О наших людях рассказать, как страдали они за веру, как пламени не боялись и за Господаря смерть принимали. Мальчик твой ведь письму обучен? Пущай запишет за мной, а дальше народ решит, что с этим делать».

Только он это договорил, как бабка бросила мешок с гостинцами и потащила меня обратно к лодке. За малым не бежала! И от кого? От дряхлого старика, который и ходил – то с трудом! Больше она меня на тот берег не брала, а сама до Гришкиной смерти туда плавала. Хотя... Кажется, она его мёртвым так и не застала... Говорит, поехала однажды его проведать и дороги до церкви не нашла. Ты прикинь? Столь-

ко лет к ней ходила и в одночасье забыла. Но бабка уверяла, что это Гришка после смерти путь к своему капищу закрыл, чтобы чужие не шастали. Такие вот дела.

Сандрович вытряхнул из трубки остатки табака и направился к дому. Пина вскочила на ноги и быстро его догнала.

– А что в той церкви было?

Сандрович замер. Тяжёлые брови сдвинулись на переносице, породив глубокие резкие морщины.

– Не помню, Москва. Ничего особенного. Разруха, запустенье, фрески какие-то облезлые. Я же советским ребёнком был, много я тогда понимал? Но Христа там не было, это точно. Не нашему Богу молился Гришка, и церковь не Ему во славу стоит.

Перед сном Пина опять сидела возле окна под присмотром покойного Юрочки за стеклянной створкой. Идеальный чёрно–белый юноша с умными глазами и печальной полуулыбкой. Когда–то он, подняв голову от стола, глядел на чёрную церковь и думал о чём-то своём, о вступлении в комсомол или импортных благах, но точно не о развалинах на том берегу. Хорошие советские мальчики не тревожатся о малоизвестных сектах минувших лет. Они рождены, чтоб весь мир до основания разрушить, а потом сказку сделать былью.

Да и ей чего об этом думать? Хорошая история, страшненькая, московским корешам точно понравится. Дикое–дикое замкадье, где живут псеглавцы и нет оплаты по QR–коду. Больше здесь ловить нечего. Нужно возвращаться в дорогу и

ехать дальше, дальше, дальше... Как можно дальше от себя.

Только чёрная Гришкина церковь никак не выходила из её головы. Лишала сна ночью, лишала покоя днём, поднималась во тьме век всякий раз, когда Пина закрывала глаза, мерещилась в резной тени деревьев, пробиралась по лунному свету в комнату и ложилась у самой кровати, словно пёс.

Гиперфиксация. У неё такое уже бывало и не раз. На этом строилась вся её жизнь. Сладкая одержимость чем-то. Человеком, фильмом, книгой, музыкой, эпохой, страной, образом – неважно. Главное гореть, главное чувствовать этот будоражащий восторг, бьющий электрическими разрядами из мозга прямо в сердце каждый раз, когда думаешь о заветном. Тогда хочется жить, хочется творить, хочется брать от мира всё, что связано с любимой темой. Всё имеет смысл, всё можно подчинить идее, всё прекрасно, и она, она жива, она не зря жива. А потом пыл угасает. Медленно, неумолимо, пока внутри не остаётся пустота. Огромная, голодная, тянущая пустота, в которой она одна, ей некуда идти, она не знает, она не видит путеводной звезды. Её душит отчаяние. И страх.

Страх, что на этот раз пустота останется навсегда. Не появится новой одержимости, нового смысла жизни, и она просто будет влачить своё существование, как все вокруг. Учеба–тусовка–дом. Работа–магазин–дом. Она видела, как пустота забирает её друзей, и они становятся обывателями. Им не надо гореть, им «и так норм». Они живут от отпуска к

отпуску, но и в отпуске не живут, а лишь хватают примитивные блага, предложенные кем-то умным и расчётливым. Они ещё не в могиле, но для дела, настоящего дела, давно мертвы. С ней не должно произойти тоже самое. Она другая, она должна *сделать что-то*.

И она снова и снова бросается в дорогу.

Движение отвлекает, движение заставляет её быть в мире, а не в своей дрянной голове. Только мысли преследуют старые. Куда бы она ни поехала, всюду всё равно приходится брать саму себя. Тяжёлый, докучливый скорб. Бросить бы его и пойти налегке, новым сильным человеком. Всегда лучше идти, чем стоять, а она, чёрт подери, стоит уже три дня в месте, где нет ничего, кроме проклятой церкви на необитаемом острове. Это не та фиксация, которая заставит её гореть. Так что пора сматывать удочки.

– Я уеду отсюда. Мне здесь делать нечего. Это не моё место, – зачем-то сказала Пина во тьму. И тьма улыбнулась ей тонким полумесяцем.

Полдень разгорался жёлтым маревом. Солнце сморило всё живое, даже трава устало поникла. Знойный воздух трещал костяными погремушками, земля дышала жаром, как раскалённая сковорода. Пина сдыхала со скуки в тени раскидистых акаций. Хутор был густо засажен ими, верно, в конце мая белые лепестки покрывают все улицы густым покровом, словно мимо прошла роскошная свадебная процессия. Южная пастораль: низенькие белые домики с резными окнами,

шелестящие акации, тихий Дон течёт меж зелёных берегов, синее небо над головой и ему в противовес – кроваво–красное маковое поле.

Поле вызвало у Пины вопросов не меньше, чем чёрная церковь. От маков, насколько она слышала, было принято избавляться, но, может, законы опять изменились. Цветы простирались до самого горизонта бесконечным алым покровом. Она в жизни не видела ничего подобного, надо заснять, пока на телефоне осталось немного зарядки, желательно записать несколько видео, потом смонтирует в ролик о трипе. Такое точно должно залететь. Сандрович, конечно, говорил не приближаться к нему, но ведь она не собирается далеко заходить. Поснимает с краю и всё.

С каждым шагом по раскалённой земле ботинки переплавлялись с ногами. Открытый затылок сильно припекало, кепку она забыла в доме. Ничего, развлечение на пять минут, вот уже можно разглядеть отдельные цветы в красном море. Нос защекотала приторная медовая сладость.

Тысячи маков покачивались в такт слабому ветру, несущему только пыль и жар, но никак не прохладу. С монотонным гулом над цветами вились усталые пчёлы. Лепестки атласно блестели, тонкие стебли покрывал лёгкий набоковский пушок. Пина старалась запечатлеть всё на камеру. Какой дивный цвет. Цвет непокорных голов и невинной крови. И посреди него чёрные сердцевины с зелёными зрачками–коробочками. Словно глаза.

Маковые глаза.

На языке саднила густая сухостойная слюна. Пина никак не могла её сглотнуть. Ещё немного, и домой, пить воду, пока живот не треснет. Но сначала снять видео. Такой красоты больше нигде не найдёшь. Все дикие маки давно истреблены, как еретики.

Пот застилал глаза. Пина быстро оттерла его и влажными пальцами нажала на значок камеры. В полуденном зное маковое поле трещало раскалёнными углями. Густой, горячий воздух сочился в рот и ноздри как старое масло. Неистово синее небо, фокус на солнце, на ослепительного небесного властителя, одаряющего милостью, сжигающего во гневе до черноты. Солнце – это первозданный пламень.

Солнце – это слепой Бог.

Вдруг в глазах потемнело. В уши ударила кровь. Виски пронзил резкий, ультразвуковой свист. Она покачнулась. Или это само поле наклонилось окровавленной корабельной палубой? Тошнота поднялась по горлу.

Солнце объявило охоту на всё живое.

На ватных, неповоротливых ногах Пина отступила назад, но шага не почувствовала. Она двигается? Или просто шатается на месте, пока сгорают последние куски мозга? Это солнечный удар, у неё никогда такого не было, но вроде... Или это яд? Маковый яд, сладкий как мёд, смертоносный как жало скорпиона. Здесь могут быть скорпионы? Это же южная степь, что здесь может быть, а что нет? Змеи? Как она

зашла так далеко... Где дом? Ничего, только маки, бесконечные маки... По губам потекла горячая мокрая соль. Это кровь. Её кровь. Она заливается в распахнутый рот, обжигает языки сводит горло тошнотой. Она не может даже сплюнуть. Господи, она что сейчас...

– Эй!

Чей-то голос окликнул её. Не Сандрович, больно молодой и звонкий. Весёлый птичий голос со странным отзвуком. Нездешним.

– Эй, милая!

Веки с трудом раскрылись и тут же зажмурились, не выдержав алой преисподней под ногами и пламени над головой. Стиснув всю умирающую волю, Пина сквозь прищур посмотрела в сторону голоса. Пот стекает со лба... Мутные капли, прямо в глаза... Это же не кровь, правда, это же только пот... Что там... Кто там? Кто зовёт её? Кто кто кто...

Посреди поля стоял парень. Его длинная белоснежная рубаша невыносимо светилась в прямых полуденных лучах, будто отражая и усиливая их, как осколок стекла. В помутнении Пине мерещилось, что голова у парня такая же маково-красная, как цветы вокруг. Будто её облили краской. Или свежей кровью.

– Иди сюда, милая! – он махнул рукой, и улыбка его за сверкала ярче солнца, и была очевидна как день, как явь, как необъятное синее небо. Великолепная нечеловеческая улыбка.

– Иди ко мне, я помогу!

И Пина пошла. Прямо по макам, втаптывая хрупкие дикие цветы в раскалённую землю. Голова кружилась от жара, от сладости, от гула крови, жужжания пчёл, зноя, от покачнувшегося неба, от расплывчатой фигуры парня, неуловимой, словно мираж в раскалённой пустыни. Ноги бессильно сгибались в коленях. Зачем она идёт? Уже середина поля. Парень не двигался, стоял на месте и звал её, изредка хлопая в ладоши, будто они играли в салки, и она водила. Но она не приблизилась к нему ни на шаг, сколько бы ни шла. Между ними лежало что-то большее нежели зримое поле, и оно лишь ширилось и ширилось с каждым её шагом.

Господи, она сейчас умрёт... Маки, маки, маки без конца. Всё вокруг красное, весь мир окрасился в этот страшный цвет красоты и боли, Бога и Дьявола, власти и дешёвой любви. Воздух так сладок, что наконец от него тошно.

Рядом с глухим звуком упала птица, будто её подстрелил незримый охотник. Пина вскинула голову. Размытые крылатые тени парили в вышине, и движения их были скоры и тревожны. Они чувствовали это. Невидимую опасность, заключенную под покровом макового поля.

Под ногами хрустнуло что-то твёрдое и при этом ужасно хрупкое. Предчувствие твердило – смотри вперёд. Иди и не смотри никуда. Идти и смотреть будет другой, а ты иди и делай. Но Пина остановилась и глянула вниз.

В кровавых маках лежал выбеленный солнцем челове-

ский скелет. Его китель наполовину истлел, остатки выпцвели до бледной зеленцы. Неподалёку виднелся вытянутый лошадиный череп с пустыми тёмными глазницами, сквозь которые уже проросли цветы.

В южной жаре повеяло холодом старых склепов. Она ведь слышала похожий хруст раньше, едва начала идти по этому полю, только он был тише. Или она слишком очаровалась красным сиянием морфиевых цветов, разгорающихся на солнце всё сильнее и сильнее.

Сколько костей треснуло под её ногами?

Сколько птиц упало камнем на землю?

И почему она всё ещё может идти?

Слепая от солнца Пина бредёт наугад, на голос, на авось. Она больше не чувствует своего тела, кажется, душа отделилась от него и неумелым кукловод руководит её вялыми руками и ногами. Есть только улыбающийся парень впереди. Бело—пламенный. Как Солнце. Она движется к нему халтурной деревянной марионеткой с тонкими ниточками, трещащими за секунду до...

Крепкая, горячая ладонь схватила её. Под ногами снова появилась земля. Пахнуло ветром с реки и почему-то костровой гарью вперемешку с мёдом.

– Ты справилась, милая! Ты дошла, – прозвучал над ухом радостный голос, но дыхания Пина не почувствовала. Ей вдруг стало так хорошо, будто не было этой чудовищной жары, тьмы и тошноты. От незримого парня веяло спокойстви-

ем, тихой силой, не требующей доказательства.

От него веяло величием.

– Ничего не бойся, я буду рядом. Только подожди немного, хорошо?

Его рука сильнее сжала её запястье. Пина хрипло охнула. Казалось, её держат раскалённые кузнечные щипцы прямоком из печного жерла. Они клеймят её, как скот, как породистую лошадь, они утверждают власть. Пожалуйста, не надо, пожалуйста... Мгновение – и её отпустили, оставив на коже саднящую боль. Без поддержки Пина рухнула на землю. Парень исчез бесшумно, забрав с собой и морфиновый дурман, и шум крови в висках.

Наступила тишина. До того резкая, что от неё можно было оглохнуть. Абсолютная иномирная тишина. Незнакомая живым. Вся кровь в теле умолкла. Она как будто умерла.

Всего на миг.

Вдали послышался шелест далёких деревьев. Плеск волн. Стрекот насекомых. Пина открыла слезящиеся глаза. Она лежала головой в маках, а ногами на дикой траве. Солнце вышло из зенита, нехотя двинулось к закату. В горле и груди свербело, потяжелевший череп набили колючей стекловатой. На лице зудела запёкшаяся кровь. Кончики пальцев потрескивали электричеством. От прикосновения парня всё также горела кожа. Пина с трудом подняла руку и посмотрела на запястье.

На смуглой коже краснели круглые раны, словно об неё

потушили пять сигарет.

Персты Его уподобились огню, ибо пограл Он пламя и прахом не обратился.

Чей-то голос, вернее, сразу множество голосов, словно кто-то один говорит, а другие тихо вторят. Похоже на молитву. Или проповедь. Что это делает в её голове, она же ничего такого не знает...

Мир медленно и расплывчато темнел. Что-то простучало совсем рядом, будто лошадь мимо пронеслась. В траве стрекотали сверчки. Ветер с воем мчался через степь.

Маковый парень спас её. Спас. Хах.

Да Он...

Он же и привёл её сюда.

Причастие скверной

За стеной разорался будильник матери. Дребезжащий высокий звук пробивался сквозь тонкие хрущёвские стены прямо в мозг. Впервые в жизни Никодим был рад слышать его, как Хома Брут был рад крику петуха.

За всю ночь он так и не сомкнул глаз, даже на секунду. Всё из-за проклятой иконы, лежавшей сейчас под его старой кофтой, словно покойник под простыней. Сначала он в порыве безумия раскрывал эту дрянь полночи, а когда увидел, *что* он раскрыл, стало не до сна.

Изначальный красочный слой сохранился изумительно, Никодим никогда прежде не видел таких насыщенных, лоснящихся олифой цветов, даже на свежих иконах, расставленных по прилавкам церковной лавки. На свету медно-рыжий фон сиял чистым пламенем, иконописцу пришлось лишь слегка наметить языки огня тонкими чёрными линиями, чтобы получился пожар. Кое-где время оставило свой тёмный отпечаток, но лишь по краям, не смея тронуть фигуру в самом центре. Безупречно написанную фигуру, изящную, дышащую жизнью вечною, соответствующую всем канонам иконописи... На первый взгляд. Хотя и на второй, и третий даже не всякий верующий разглядел бы целую систему нарочитых нарушений под личиной благочестия.

Звёздчатый нимб. Лик с чёрными отметинами. Белые

одежды, не саван, не хитон и гиматий, а роскошный русский кафтан с пурпурным поясом. Алый конь с огненной гривой. А над рыжей непокрытой головой всадника высоко, в медном пожаре замерло жуткое очеловеченное солнце с пустыми глазами. По бокам змеилась надпись на церковно-славянском. Привычные квадратные буквы жались друг к другу, сливаясь в неразборчивую вязь. Но Никодим был лучшим на курсе реставраторов. Он видел, какую кошунственную мерзость запечатлели на этой иконе.

Глаза его сгорали от гнева и отвращения, голос совести велел предать это богохульство огню, уничтожить эту поганую икону раз и навсегда, а с ней то смутное зло, которое она несла. Это же Дьявол во плоти.

Но Никодим не мог отвести взор. Не мог поднять руку. Всё его тело парализовало ночью, возбуждением и inferнальным, невыразимым ужасом. Всадник среди пламени. Он знал его, да, конечно же знал. Но никак не ожидал увидеть на иконе.

Святой Христофор с собачьей головой, генерал Ушаков, царь-страстотерпец Николай Второй с семейством, Иосиф Сталин в гостях у Матроны Московской – ему доводилось лицезреть в иконописи всякое, но только не человека, преданного анафеме до скончания людского века. Еретик, преступник, грязь на лице России, позорный лицедей, да как... Да кто додумался написать икону с его ликом? Ещё и такую. Восхваляющую его цветом, медью, золотом, каждым штри-

ХОМ.

От этого грязного раболепия у Никодима внутри вскипала желчь. Он смотрел в масляные глаза, большие, миндалевидные, небесно-синие, полные мученической печали и любви, и ему хотелось замазать их углём, маркером, собственной кровью, дерьмом – чем угодно. Только бы они не глядели на него из тьмы ушедших веков. У Зла не должно быть икон. Зло не должно являть себя под маской благодати, рядиться в белое и пурпур, торжествовать среди пламени и глядеть умильными очами. Это скверна, заслуживающая самых страшных вечных мук.

Его лицо должно быть вымарано. Истреблено. Навсегда.

– Господи, помилуй мя, – севшим голосом прошептал Никодим и, схватив со стула свою старую чёрную кофту, набросил её на проклятую икону, как силок на змея. Потом долго истово молился в красном углу. Задыхался от привычных слов, точно загнанный до пены пёс. Кажется, плакал. Гнул-ся в земном поклоне к грязному обшарпанному ламинату. Пытался заснуть прямо там, на молитвенном коврике, под сенью икон и ладанной дымки, но стоило векам сомкнуться, как пред мысленным взором из адского пожарища выезжал поганый всадник. Снова молитвы, до хрипоты, до изнеможения. Но Дьявол уже коснулся его. И не желал отпускать, как долгая зимняя ночь не желала сменяться днём.

– Димка, ты чего в такую рань? Разбудила? – мать изумлённо глядела на его мрачное лицо, состоящее только из кос-

матой бороды и синюшних нижних век.

Он ничего не ответил. Достал из кухонного шкафа чашку, засыпал её наполовину растворимым кофе и залил кипятком. Никакого сахара, хотя эта гадость, купленная по скидке, кислотит хуже забытого на месяц молока. Первый же глоток попадает в желудок разрывной картечью. В горле свербит тошнота от бессонной ночи, усталости, холода, бесконечной зимы и тоски. Для второго глотка требуется мученическое усилие, как и для третьего, а потом дрянное пойло льётся единым потоком. Никодим закрывает глаза, позволяя сознанию раствориться в горячей кофейной кислоте и собственной желчи.

Всадник в пламени смотрит на него. По его щекам течёт багровая мирра. Он смотрит не мигая. Он не ведает страха перед Богом.

Святой еретик.

– Господи, ну и вид у тебя, Димка, будто только что откопали. Вообще не ложился, что ли? Будешь по ночам со своими иконами возиться, глаза вконец испортишь, – квохтала мать, а сама тем временем продолжала бодро собираться на работу. Запихнула контейнер с едой в потрёпанную сумку, поправила волосы, мазнула гигиенической помадой по губам. Никодим существовал для неё как тень за плечом, как расплывчатое отражение в заляпанном зеркале. Его страшное ночное откровение не принадлежало её мирским будням.

– Раз ты уже на ногах, будь добр, помой полы. Я вчера подмела слегка, а на это сил не хватило. Мясо с гречкой в холодильнике, там ещё баночка с тушеной капустой, она магазинная, но очень вкусная.

– Сегодня пятница, – прохрипел Никодим, закидывая в чашку ещё кофейных гранул. Едва коснувшись дна, они превратились в чёрную дегтярную лужицу.

– А, да? – мать изумленно захлопала крашеными ресницами и посмотрела в отрывной календарь. – Ой, и правда. Ну, тогда тебе только гречка с капустой. Можешь в шкафу пошариться, вдруг шпроты какие-нибудь остались. Всё, давай, я ушла.

Она захлопнула дверь, не дожидаясь его ответа. Никодим остался один в захламлённой квартире с бледно-жёлтыми лампочками, полумёртвыми цветами и зябкой подвальной сыростью. Даром, что жили на самом верху, всё равно будто под землёй ютились. Мерзкий город, мерзкие зимы.

Возвращаться к себе в комнату не хотелось. Если он вернётся, то увидит свою толстовку на столе, а под ней квадратные очертания. Ему нужно убрать эту мерзкую икону, спрятать куда-нибудь подальше, но для этого придётся снять покров и снова узреть чудовищное кошунство. Он сделает это, но только когда взойдёт солнце, и свет восторжествует над тьмой. Хотя бы физической.

Никодим просидел на кухне до десяти утра, тупо плясая на холодильник, увешанный магнитиками словно ветеран

наградами. Рим с покосившейся башней, Тула с пряником и самоваром, Стамбул, пирамиды и верблюды Египта, тихий Дон с разудалым казаком, райские Бали, зелёно-лазурные Гоа, разведённые мосты Питера, Нижний Новгород, Париж, Серпухов, продажная красная Москва – он не был нигде, мать после смерти отца тоже никуда не выезжала. Все эти метки большого мира принесли им другие, сердобольные счастливые странники. Как же без подачки для сирых и убогих, не знающих хруста французской булки и ласкового Средиземноморского бриза? Давно стоило снять весь этот ширпотреб, но мать подняла бы визг. Она искренне любила напоминания о прекрасном далёком.

За мутным окном небо застилали свинцовые облака, и новый день пробивался сквозь них рассеянным светлым туманом. От выпитого кофе мутило, но сон отошёл на задворки сознания. Тело смирилось со своей незавидной участью и приготовилось влачить своё существование дальше. Помолвившись на восток, Никодим зашел в свою комнату. Проклятая икона лежала на столе нечестивым покойником. Может, взять её вместе с толстовкой и выкинуть? Или убрать в пакет, отправиться за город и сжечь. Её нельзя здесь оставлять, а если вернуть отцу Гермогену...

Нет.

Никодим сам ужаснулся твёрдости своего внутреннего голоса. *Своего?* Из груди ударило что-то живое и своевольное, будто птенец изнутри скорлупы. Или дракон.

Он не должен говорить о проклятой иконе другим. Вернее, зачем говорить сразу, пока он ещё толком не разобрался в этом? Никодиму казалось, что, открыв её, он стал соучастником преступления, он запятнал свою душу страшной скверной. Но что с ней делать... Рука медленно сняла со стола кофту. В мутном свете архангельского дня краски казались не столь яркими, огонь поугас, обратившись в угли. Неизменной осталась только плавность линий и то, с каким почитанием был выписан лик.

Подняв икону, Никодим осторожно оглядел её сзади. На доске не сохранилось никаких опознавательных знаков, вроде года и места, где создали это чудовище, не говоря уже о подписи создателя. Всё сожрало время и жуки древоточцы. А если разобрать письмо, саму манеру... Век восемнадцатый? Конец семнадцатого? Она безусловно древняя, но тем больше возникает вопросов.

Кто додумался написать такое, когда дурное имя лжесвятого ещё ходило у всех на устах и проклиналось каждым Великим Постом? Это какая-то ересь, секта?

Номер Николая Александровича пришлось поискать. Никодим никогда не созванивался с ним, просто сохранил при поступлении на курсы реставраторов, так, на всякий случай, потом пару раз они списывались в мессенджере насчет задания, но на этом всё. Сердце суматошно билось о рёбра. Он не возьмёт трубку. У него полно работы, с чего бы ему отвечать на звонок мальчишки на побегушках. Он вообще...

– Никодим? Здравствуй.

– Николай Александрович! Простите, что беспокою и отвлекаю от работы, если вам сейчас неудобно, я перезвоню позже, – отбарабанил он на одном дыхании. С той стороны связи раздался тихий смех.

– Да нет, ты как раз вовремя, я только собирался тебя набрать. Но давай говори первый, что у тебя случилось?

– Я насчет иконы, которую вы дали мне в работу. С Дмитрием Солунским. Помните?

– Смутно, если честно. А! Это которая вся разваливается что ли?

– Да, она. Вы не подскажите, откуда она у вас?

– Мммм... На блошином рынке попалась, какой-то мужик распродавал вещи покойной бабки, и были среди них иконы. Хорошая вышла сделка, он им честной цены не знал, а меж тем там оказалось несколько ранних старообрядческих икон. Состояние у всех паршивое, их никогда не отдавали на реставрацию, но сами по себе они золотые. Твоя икона досталась мне бонусом «спасибо». Мужик сам понимал, что не продаст её, больно она побитая жизнью, да и письмо примитивное, кустарное совсем. Говорит, нашел её на чердаке отдельно от остальных. Он мне её буквально насильно всучил, я–то её брать не хотел. Работы и так непочатый край, ещё с народным творчеством возиться. А потом я о тебе вспомнил и решил, что тебе как раз полезно будет, хотя бы поковыряться ради интереса. А что с ней?

– Ничего, просто любопытно стало, откуда она такая, – соврал Никодим, а потом, подумав, добавил, – Мне кажется, на ней есть второе изображение. Более старое.

– Неужели? Ну, как раскроешь, присылай фото, с удовольствием посмотрю. Люблю иконы с двойным дном, есть в них какая-то очаровательная загадка, пища для воображения...

Никодим наяву видел, как Николай Александрович мечтательно и хищно улыбается, словно лис, почуявший добычу.

– Но, если ничего не получится, не расстраивайся, ценности в ней никакой нет.

– Хорошо.

– Так вот, что я от тебя хотел. У меня в начале марта командировка на Соловки, позвали над одним их старинным образцов поработать. Я хочу взять тебя с собой в качестве подмастерья. Посмотришь, как полевые работы ведутся, мне подсобишь. Что скажешь?

– Я бы с радостью, Николай Александрович, но у меня нет денег на такую поездку.

– Не волнуйся, билет на самолёт я тебе выбью, а там мы будем при монастыре жить за счет заведения. Не олл-инклюзив, конечно, но от голода–холода не помрём. Так что, Никодим, высылай свои паспортные данные и копию диплома с курсов. Крайний срок понедельник.

Эхо оконченного разговора ещё долго звенело в голове Никодима. Он не верил в услышанное, это же просто невоз-

можно... Его берут на Соловки, работать над старинной иконой вместе с лучшим реставратором Севера! Соловецкий монастырь... Обитель древней благодати, невольное пристанище кровавого террора. А что, если остаться там навсегда? Попроситься в послушники, принять постриг, со временем перебраться в отдалённые скиты и жить в молчании и молитвах до самой смерти, внимая морскому ветру в соснах да птичьим голосам. Судьба ничем не хуже той, которую ему пророчит поступление в Московскую Духовную Академию. На Соловках ничто не достанет его. Ни материнские стенания, ни взгляд слепого солнца...

Икона лежала на столе, открыто и надменно, как продажная девка. Даже в безжизненном свете зимнего солнца огонь на ней переливался всеми оттенками красного и золотого. Страшно представить, какого дьявольского величия она может достичь в летний полдень. Телефон, всё ещё зажатый в руке, засветился. Прежде чем осознание вернулась к нему, Никодим нажал на значок фото, шагнул к столу и быстро защелкал по экрану. Издалека, поближе, фрагменты: лицо, морда коня, резной нимб, пустоглазое солнце, вязь имени. Дьявол кроется в деталях, и до чего же искусно сделаны эти детали. Никодим всей душой презирал смысл, вложенный в икону, но не мог побороть эстетического восторга, распляющегося с каждой секундой, проведённой вблизи кощунственного изображения. Кто бы ни создал его, этот человек был злым двойником Андрея Рублёва, равным ему в талан-

те, но не в благочестии.

Всадник в пламени не знал смирения, не знал страха пред собственным величием. Спокойно, с долей страдания он бросал вызов всему, что противилось его воле. Как Бог, принесший не щит, но меч.

– Просто немыслимо, – пробормотал Никодим и накинул толстовку обратно на икону. Спеленал её и, помыкавшись по комнате, в итоге убрал под кровать. Святотатство – так поступать с иконой, но только не с подобной. Всякий самозванец заслуживает лежать в грязи.

Помолившись перед работой, Никодим протёр стол, разложил инструменты, приготовил глубокую миску с тёплым клеем и, перекрестившись, принялся за Богоматерь. Нужно отвлечься, с головой уйти в иной образ, светлый, истинный, позволить Божьей милости очистить его от случайного прикосновения зла. Вот Богородица с ласковыми и печальными глазами, а к её щеке нежно прильнул младенец, Спаситель рода человеческого. Сколько любви в этой иконе, сколько непорочного чувства. Оно исходит от олифы благоуханным духом и с каждым вдохом проникает в грудь созерцающего, наполняя его тихим светом.

Никодим зажмурился, глубоко вдохнул аромат ладана и старого дерева, пропитанного маслом, замер в мгновении, вслушиваясь в молитвенные напевы и удары собственного сердца, открыл глаза, взглянул на Богородицу...

И ему стало дурно.

Огромные очи Богоматери и младенца Христа не выражали ничего. Пустота. Бесчувственные лица с искаженными чертами. Грязные, жёлто-бурые краски. Облезлая позолота. Впервые икона, святой образ, золотое окно в иной мир, была просто... Картинкой. Масляным рисунком на тёмном дереве, причём не самым умелым. Он не хотел на неё смотреть, но не от осознания собственной греховности, а потому что смотреть было *не на что*.

Смертельный ужас стиснул сердце. Никодим застыл, скованный по рукам и ногам. Он не ощущал собственного тела. Его душу поместили в анатомический препарат, в серый труп, только выловленный из ванной с формалином. Он чужой в собственной плоти. Он чужой в собственной голове.

Это не могут быть его мысли. Это не могут быть его чувства. Его не может мутить от душного приторного ладана, он не может тянуться к заклеенному окну, чтобы впустить в свою самодельную келью смрад мирской жизни. Протяжные песнопения монастырской братии не могут разрывать его уши, святые лики не могут вызывать в душе ничего, кроме скуки и... Отвращения.

Это всё пустые доски с краской. Пустые доски с однообразными лицами и фальшивым золотом. В них нет Божьего присутствия. Они хуже, чем пустые, потому что они притворяются святыней, когда на самом деле они...

– Изыди Сатана!

Никодим бросился в красный угол и принялся неистово

молиться. Привычные слова оседали на пол серой пылью, а не воспаряли ввысь. В нём что-то сломалось. В самом сердце, где раньше жил Бог, а теперь сидел пламенный всадник, нагло, гордо, как захватчик, как бесстыдный самозванец. Он глядел в него своими трагичными очами и ждал.

Ждал, когда Никодим признает своё поражение.

На улице было пасмурно и сыро, дул стылый ветер с мелким снегом. Погода такая, что даже собачник надолго не выйдет. Никодим прошлялся по району до самого вечера. Околел до полной потери чувств, но в храм поехать не решился, отец Гермоген почует неладное и начнет расспрашивать, а ему стыдно, стыдно признаваться в подобных мыслях! Да в рукоблудии каяться проще, чем в подобном! Пришлось возвращаться домой, больше некуда было податься. Никодим шел к родной многоэтажке как на эшафот. Со всех сторон его окружали тёмные нагие деревья с острыми ветками, на которых расселось голодное воронье. Гнев матери, чью просьбу он не выполнил, его совершенно не пугал, страх вызывала только маленькая икона, лежащая под его кроватью. Он ведь достанет её. Не выдержит соблазна. Достанет, избавит от чёрного кокона и пропадёт в медном пламени.

Среди языков огня, за правым плечом всадника, под самым длинным лучом слепого солнца притаилось нечто, чего он не в состоянии был постичь. Нечто страшное и великое. Как восстание ангелов против Бога Отца.

Когда он зашёл в квартиру, матери там не оказалось. Её

короткое сообщение ударило Никодима обухом по голове. «Попросили остаться на ночную, когда вернусь не знаю. Спокойной ночи». Вот так он остался наедине со Злом. В комнату зайти не решился. С наступлением темноты страх всё сильнее и сильнее окутывал его в липкие сети. Что-то скреблось за стеной. Половицы стонали под ногами. Тишина одиночества, гулкая и жуткая. И некуда сбежать от неё, некуда. Он один на один с пустотой.

Не придумав ничего лучше, Никодим решил переночевать на кухне, стащил подушку и одеяло из материнской комнаты и лёг на полу, давно немытом, местами липком. Накрылся с головой, отвернулся прочь от дверного проема. Но тьма зияла слишком ярко, слишком живо. Она наполнилась образами.

Нужно заснуть. Нужно просто заснуть и дотянуть до утра. Будет новый день, он избавится от проклятой иконы, чего бы это ему ни стоило, и всё вернётся на круги своя. Господь не оставит его. Господь укрепит и защитит его.

В глухой ночи, когда усталость наконец-то поборол тревогу, сквозь сон Никодим вдруг услышал что-то. Звук. Тихий и размеренный. Приближающийся к нему. Всё происходило на грани сознания, он не мог точно сказать, звуки шли из коридора или из соседней квартиры. Звукоизоляция тут ни к чёрту. Господи. Это шаги. Едва слышные, твёрдые, с дробью каблука. Нет, это не могли быть соседи с их шаркающими тапками и босоногим топотом. Никодим сжался в ко-

мок. Не поворачиваться, не смотреть в дверной проём, в бездонный мрак, где ходит невеста что. Нужно заснуть, скорее, заснуть и очнуться уже утром. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи...

Призрачным шагам вторил стук копыт. Они остановились на пороге кухни.

И тут в спину Никодима ударил обжигающий алый свет. Словно позади раскрылись створки в огненную печь. Сердце прыгнуло в горло и застряло там, поперёк, как огромный дрожащий камень. Дыхание спёрло. Всё тело омертвело от ужаса.

Он мог придумать шаги, мог придумать копыта, но стену его крошечной кухни заливало красным сиянием, и на нём проступали чёрные тени стола, его лежащего тела и бесформенное нечто, застывшее в шаге от него.

Господи, Господи, Господи...

Не в силах даже дышать, Никодим замер беззащитным зародышем на полу. Нужно перекреститься. Хотя бы прочитать про себя какую-нибудь молитву, Символ Веры или Иисусову молитву. Враг рода человеческого не посмеет коснуться того, кто обращается к Господу за помощью. Нужно только начать, прошептать первые слова, беззвучно, от всего сердца...

Они не помогут.

За его спиной стоял не бес и не дьявол. От Него пахло мёдом и гарью. Он мог заговорить с ним и не делал этого,

просто выжидал. Всмотривался.

Неожиданно жар стал сильнее. Никодим стиснул зубы, чтобы не заорать от боли. Его голову жгло, словно к ней поднесли горящий факел и подпалили волосы. Языки пламени охватили его, кожа вскипела пузырями. Прекратите, прекратите, пожалуйста, умоляю, пре...

Вдруг сознание окрасилось белым.

И видения заполнили его.

Никодим закричал и сам не услышал своего голоса.

В соседней квартире визжала кофемолка, ей вторил ворчливый чайник. Никодим очнулся на полу кухни. Всё тело ломило от боли, громко хрустнули шейные позвонки, стоило только поднять голову от подушки. В глаза как песка насыпали, а во рту растрескивалась настоящая пустыня. Затёкшие ноги с трудом выдерживали привычный вес, пришлось одной рукой опираться на стол, пока другой Никодим наливал святую воду в крошечную фарфоровую чашку с крестом. Посеребрённая вода приятно холодила, оставаясь на языке призрачной сладостью.

Он жив. Господи, он жив.

Дрожа от малодушного страха, Никодим встал перед кухонным окном на колени и начал молитву. Ему казалось, он не сможет, только не после того, что произошло накануне. Наплевать, приснились ему шаги и красный свет на кухне или нет. То, что происходило с ним, пока он работал над ико-

ной Богоматери, точно случилось наяву. Проклятый всадник осквернил его, отрезал его от Господа, лишил его спасения и жизни вечной, и теперь... Никодим молился. С прежним усердием и чувством, с привычным замиранием сердца и благодатным послевоксием от последнего «аминь».

По впалой щеке скатилась одинокая слеза и пропала в бороде. Господь не оставил его. Он по-прежнему жив для Спасения.

Оставлять проклятую икону дома нельзя, ещё одна такая ночь – и он сойдёт с ума или ещё что похуже. Отдать её отцу Гермогену, отдать Николаю Александровичу, первому встречному на перекрёстке в полночь, кому угодно. Но в идеале тому, кто максимально далёк от веры и не станет задавать лишних вопросы.

С тех пор, как при крещении он принял имя Никодим, вокруг него не осталось людей вне Церкви, кроме матери и...
– Даров, Димыч, заходи.

Янка опять перекрасила волосы в жуткий, неестественный цвет. Кажется, ещё летом это был фиолетовый, а сейчас розовый как платье куклы Барби. Ещё и в весе прибавила, но это её ничуть не смущало, по дому она расхаживала в коротком топе и шортах. На пышной груди красовалась татуировка в виде драгоценного камня, в носу блестело кольцо, ещё дюжина украшала уши. Когда она говорила, Никодим старался не смотреть на её губы, чтобы случайно не увидеть разрезанный змеиный язык.

– Извини, что потревожил, – он тупо топтался на пороге, боясь ступить своими грязными ботинками на светлый паркет.

– Да ладно, с супер–мега срочными раскладами я закончила, за остальные уже вечером засяду, мне по темноте как раз лучше работается. Ты не стой в дверях, проходи. Тапочки? Давай надевай, мать придёт, уши мне открутит, если ты без тапок ходить будешь. Гостеприимство, ёбанный рот. Нормас по размеру? Кайф. Чай, кофе, пиво, энергос? Как хочешь, а я за энергосом. Будь джентльменом, открой, а?

Ногти у неё были настолько длинными, что больше напоминали когти оборотня–трансвестита. Скрывая отвращение, Никодим вскрыл цветастую банку. Раздалось характерное шипение и сразу запахло сладкой химией и тропическими фруктами. Янка с наслаждением приложила к банке, оставив на металлической крышке фиолетовый отпечаток губ.

– Что там тебе занывать надо, родной? Учти, если совсем адовая запрещёнка, то это не ко мне. Травка, таблетки – куда ни шло, а порошки у других прячь. Прокурора никто, конечно, без предупреждения шманать не станет, но мать мне устроит такой допрос с пристрастием, что фашистам и не снилось.

– Я не наркоман.

– Да? А по виду не скажешь. Выглядишь как залежавшийся труп торчка, – Янка плюхнулась в своё навороченное геймерское кресло и покровительственно махнула ему на кро-

вать, огромную, двуспальную, застеленную чёрным постельным бельём и пледом. Никодим неловко притулил свой тощий зад на самом краю.

В гости к Янке он не заходил класса так с девятого, и в те далёкие нежные времена её комната ещё хранила в себе отпечаток беззаботного зажиточного детства. Светлые обои с оленёнком Бэмби, двухъярусная кровать при том, что Янка была единственным ребёнком своей сильной и независимой матери, потолок с фосфорными звёздочками, белый платяной шкаф, заклеенный наклейками с Барби, феями и чародейками, шведская стенка, на которой они резвились вдвоём, свой собственный телевизор с DVD-проигрывателем и приставкой и кругом игрушки, целые армии плюшевых мишек, заек и котиков, Барби, принцесс... Сейчас вместо них стояли фигурки персонажей аниме и разных компьютерных игр, кровать для двух друзей заменило идеальное лежбище для порока, телевизор стал тоньше и шире, под ним красовалась приставка последней модели и пара геймпадов. Неизменными остались только платяной шкаф да потухшие звёздочки на потолке. По всему периметру комнаты пролегли линии огоньков, освещающих комнату фиолетовым светом. Ни единого луча солнца не прорывалось сквозь плотные чёрные занавески.

Когда-то они были лучшими друзьями. И в сопливом детстве, когда он жил ничуть не хуже Янки и утопал во всех мирских благах, и в подростковые годы, когда не стало его

отца и всё постепенно скатилось к нынешнему жалкому существованию. А потом он принял православие, и с Янкой ему стало не по пути. Нет, она хорошая девчонка, добрая, отзывчивая, душа компании, но её образ жизни, все эти тусовки, пьянки, парни, подружки, рейвы, гадания на таро... Дурные сообщества развращают добрые нравы, но и от них бывает польза.

– Ну, кайся давай, с чем пришёл? Что прятать будем?

Он протянул ей икону, плотно закутанную в грязную наволочку с цветочками, которую мать отложила на тряпки.

– Ого! Это что? Книга?

– Икона. Хранить нужно в тёмном сухом месте, лучше лишний раз не трогать, она старая.

– Хераси. А зачем её прятать? Ворованная? – Янка с любопытством зверька крутила свёрток в руках, пытаюсь разглядеть хоть что-нибудь сквозь изношенную ткань.

– Нет, не ворованная, мне её отдали для учёбы. Просто... Мать мне запретила приносить новые иконы, ругается, типа я и так всю комнату ими завешал.

– А–ха–ха–ха, да, помню твою комнату. Чисто монастырь в миниатюре. Что, по-прежнему играешь в праведника?

– Это не игра.

– Ага, «мама, это не фаза, это моя жизнь». Ладно, если без шуток, я удивлена, что ты в монахи не подался сразу после школы. Тебя тогда так двинуло на этой теме, что я даже испугалась. У всех ЕГЭ, вписки, поступление в универ, а у

тебя иконы, псалмы и храм каждую субботу и воскресенье. Треш просто! Как в том фильме про злобного пацана, который всех цитатами из Библии кошмарил.

Вспомнив о своих неудачных попытках поступить в семинарию, Никодим сжался от стыда. Разбитная Янка, вся покрытая татуировками и давно забывшая натуральный цвет своих волос, поступила в первую волну в лучший университет Архангельска, на факультет информационных технологий, и до сих пор не вылетела оттуда, а его не брали в семинарию второй год подряд. Без объяснения причин.

– Я ещё не готов к постригу, – глухо ответил Никодим. – Сейчас реставратором подрабатываю, а дальше видно будет.

– Ну круто, круто. Можно поглядеть, а? Я, конечно, ни хера в этом не понимаю, но интересно же. Старая икона?

– Очень. Лучше её не трогать, она вся рассыпается.

– Я одним глазком.

– Янка!

Поздно. С неожиданной прыткостью Янка отскочила от кресла к двери и стащила наволочку с иконы. Никодим застыл без движения. Спокойно. Нельзя дёргаться, нельзя подходить ближе и смотреть. Янка всё равно ничего не поймёт. Она горазда только читать свои таро да астрологические карты.

– Ух ты! Прикольно. Огонь прямо как настоящий. А солнце тут при чём?

– Не знаю. Какая-то малоизвестная школа иконописи, ещё

не разобрался.

– Как по мне язычеством пахнет или эзотерикой.

– В православии вообще – то нормально изображать Солнце и Луну на иконах, – ощерился Никодим и тут же поспешил взять себя в руки. Зачем он защищает поганую икону? Если она из Янкиного мракобесия вылезла, то пусть забирает хоть на совсем, ему же легче. Только не надо изображать при нём знатока иконописи, когда вокруг дымятся вонючие индийские благовония и сверкают магические кристаллы.

– А надолго ты собираешься у меня её оставить? – судя по голосу, Янка не горела желанием прибрать икону к рукам. Меж её бровей залегла напряжённая складочка, а глаза продолжали буравить изображение слепого солнца. Нет, она всё-таки почуяла неладное! Интересно, это бесы делают её такой проницательной?

– Пока не знаю. На пару месяцев точно.

– Окей. Без проблем. Её проверять надо?

– Нет, пусть просто лежит.

Застыло неловкое молчание, за которым последовал ещё более неловкий разговор о том, кто как живёт. Когда Никодим проблеял банальное «ну, мне пора», Янка явно выдохнула с облегчением.

По пути домой он зашел в первую попавшуюся церковь и поставил свечку. Завтра будет суббота, вечерняя служба, а за ней воскресенье, исповедь, литургия. Привычный церковный распорядок. Никодим возвратился домой в самом

благодостном расположении духа, даже решил помыть полы до прихода матери. Начал с кухни и коридора, которые она обязательно проверит, потом её комната и его собственная. Простой, монотонный труд успокаивал разгулявшиеся нервы.

Закончив с уборкой, Никодим вернулся к иконе Богоматери. Помолился, включил песнопения, совсем тихо, чтобы не напрягали. Ладан жечь не стал, и без того хватало запахов. Рука с кисточкой дрожала, когда он набирал клей и наносил его на поверхность иконы. В горле ещё стоял тошнотворный ком, но с исчезновением лика проклятого всадника Никодиму стало спокойнее. Прежнего возвышенного вдохновения не появилось, но не было и кощунственного отвращения. Он медленно возвращался на свой путь.

– Дима! Это что ещё такое?! – протяжный вопль матери вернул его на землю. На затёкших ногах Никодим кое–как вывалился из комнаты. Мать застыла на пороге кухни, взбешённая до предела, аж волосы дыбом встали.

– Что ты здесь делал, паразит?! Свечи свои чёртовы жёг?! – она накинулась на него разъярённой толстотелой гарпией. Никодим вжался в стену, инстинктивно выставил перед собой руки. Во гневе мать ничем не погнушается, а затрешины у неё медвежьи, может и голову снести.

– Сволочь! Святоша недоделанный! Да ты знаешь, сколько стоит новый ламинат постелить?!

– Мать, ты вообще о чём?

– О чём?! Посмотри, что ты с полами сделал, скотобаза!

Дурнота медленно поднялась по глотке.

На входе в кухню темнело огромное пятно, непроглядно чёрное, с острыми лучами, один из которых, самый острый, самый длинный, тянулся вглубь кухни. В то самое место, где ночью, умирая от ужаса, лежал Никодим.

В голове зазвенел погребальный колокол.

– Это не я...

– А кто, а? Дед Бабай? Или, может, домовый распоясался?

– Ладно, я уберу... Просто плохо помыл полы, – не слыша себя, бормотал Никодим. Он не видел ничего вокруг себя, только жуткое лучистое пятно, глубокое как яма. Как сама Бездна.

– Уж будь добр! От тебя копейки не дождёшься, всё тра-тишь на свои свечки да книжки, зато жрать и срать так это ты у нас первый! Не ототрёшь – сам полы менять будешь, ясно? Скотина. Вырастила же на свою голову...

Брань летела камнями в его спину и затылок, но Никодим едва замечал её. Взять тряпку, промыть, добавить средства на пол и тереть, тереть, тереть...

За две минуты тряпка из ядовито-оранжевой превратилась в чёрную. Пятно даже слегка не посветлело. Мимо ходила мать, гремела посудой, вскипятила допотопный чайник, разогрела ужин в микроволновке и нарочно долго не доставала его. Визг истёкшего таймера отлично сочетался с ором рекламы и бодрым речитативом новостей.

– Отжимай почаще, – рявкнула мать, на миг отвлекшись

от голубого экрана.

На кухне она сидела до последнего, даже когда устала пить чай и смотреть телевизор. Ждала, когда Никодим сдастся и с униженной мольбой склонится пред ней. Вода в ведре больше походила на дёготь, а чёртово пятно не пропадало. Напротив, оно словно увеличивалось в размерах и набиралось сил, впитывая пот и ужас Никодима.

Впервые за долгое время ему по-настоящему хотелось плакать.

В третьем часу ночи он сдался, вылил чёрную воду и в бессилии завалился спать. Измождение перекрыло собой весь пережитый кошмар, он просто провалился в небытие и очнулся в новом дне.

Суббота. Судя по тишине, мать опять ушла на работу или на какой-нибудь вшивый рынок, где в отличие от магазина можно сбить цену. Пятно на кухне никуда не исчезло, только утратило свою тёмную глубину и выглядело плоским, как и должно. Никодим присел на корточки и коснулся его кончиками пальцев. Что же это могло быть? Такое ощущение, что кто-то с высоты собственного роста уронил шарик с водой или скорее с вином. В свете дня цвет такой... коричнево-красный, как...

Никодим бросился к кухонному шкафу. На нижней полке стоял пластиковый контейнер с домашней аптечкой. Пакетики лекарства от простуды, активированный уголь, какие-то таблетки, флаконы. Да где же она? Неужели кончилась? На-

конец под руку попался нужный пузырёк. Открыв крышку, Никодим капнул пару капель на пятно. Тут же от пола поднялась розовая шипящая пена, на месте которой не было уже ничего, только грязный древесный узор.

Перекись водорода. Никодим расплескал весь флакон, а затем, накинув куртку, выбежал в ближайшую аптеку. Фармацевтка, молодая зеленоглазая девица с хронической усталостью на лице, посмотрела на него как на блаженного, когда он протянул ей пятисотенную купюру со словами «Перекись, на все». Видно пыталась сообразить, как местные наркоманы научились получать дурь из перекиси водорода.

– Вам флаконами по сто миллилитров, по двести или сразу литровыми?

– А сколько получится?

– Пять литров.

– Давайте.

Чтобы полностью оттереть пятно ему потребовалось почти всё купленное. Убирая тряпкой розовую пену, Никодим старался не думать о том, что создало её. Ответ был только один, и от него внутри всё сворачивалось в узел. Пятна точно не было, когда он вчера мыл полы. Он бы заметил, попробуй такое не заметить! Значит, оно появилось к приходу матери, возможно, когда он сел за реставрацию оставшихся икон. Красноречивое доказательство того, что полуночный бред случился наяву.

Зло вошло в его дом.

– Не боюсь от страха ночного, от стрелы, летящей во дни, от вещи во тьме преходящей, от сряща, и беса полуденного, – тихо и медленно произнёс Никодим, глядя в зеркало в прихожей, находящееся ровно напротив входа в кухню. Вот испытание, о котором он так запальчиво говорил отцу Гермогену, испытание его веры. Жаль, что он сразу этого не понял, и Дьявол посмел проникнуть в его дом и даже в сам его разум, осквернив его дрянными помыслами. Икона была его проводником, искусной отравой, которую он проглотил, словно безмозглая рыба. Но теперь он узрел коварные сети, и как стёр печать Нечистого с пола своего дома, так же сотрёт скверну со своей души. Сегодня суббота. Он голодал уже второй день и завтра примет Святое Причастие с чистым телом и духом. И Дьявол отступит. Ему никогда не победить на поле брани его сердца.

Пустая остановка с переполненной мусоркой, вывалившейся свои нечистоты на заледеневший асфальт. Россыпь окурков торчит из снега оранжевыми фильтрами вверх. Трясущаяся маршрутка подъезжает через полчаса, когда всё тело превращается в лёд. Полумрак ржавой душегубки. Тёплый с испариной воздух, изредка его разбавляет морозный поток с улицы. Этого едва ли достаточно, чтобы не умирать от духоты. Унылые лица пассажиров, слишком уставших за неделю, чтобы радоваться выходному. Никодиму хватило одного беглого взгляда, чтобы понять про них всё и тут же отвернуться к заиндевавшему окну. Они не живут, они

влачат свою брнную земную жизнь, как бедняк свои жалкие пожитки, все мысли их заняты тленном, пеплом, будущим Ничто. Они не воскреснут. Они слишком давно мертвы.

Остановка. Центр. Стеклянные витрины, дореволюционная постройка из нарядного красного кирпича, рядом цветастые деревянные дома, и над всеми ними возвышаются мрачные гиганты многоэтажек. Скользящая серая плитка под ногами, низкое серое небо над головой, серые люди навстречу. В этом городе нет красоты, нет места для духовного отдохновения. Его название – ложь, здесь нет ничего ангельского.

Это Чистилище на берегах Двины.

До храма оставалось десять шагов, когда телефон в кармане настырно завибрировал. Никодим остановился и нервно зашарил по куртке. Мать? Опять хочет ему мозги вынести? Да пошла бы она... А если это Николай Александрович? Или отец Гермоген?

Озябшая ладонь с трудом вынула телефон. Сердце пропустило удар. Звонила Янка.

Шум шагов и звон копыт. Красный свет в спину. Длинная тень. Чёрное пятно, похожее на солнце. Розовая пена с запахом перекиси и железа.

Родной храм стоял напротив в скромном бело-зелёном убранстве. Твердыня веры. Его земля обетованная, где его не тронет никакое Зло. Выкинуть телефон, разбить его до микросхем и стекла, и спрятаться под сенью Божьего дома, как когда-то в детстве прятался в своём собственном.

Когда-то давно, когда ещё был жив отец.

– Да? – зубы клацнули от страха и холода.

– Димыч, привет, – голос Янки несмотря на показную бод-
рость подрагивал неуверенностью и электричеством. – Слу-
шай, тут такое дело... Даже не знаю, как сказать...

– Что-то случилось с иконой?

Он спросил слишком быстро. Выдает себя, как грошовый
преступник.

– Что? Нет-нет, с ней всё нормас. Тут другое стряслось...
Только не перебивай, ладно? Я сама в не меньшем ахуе. В
общем... Я сделала на тебя расклад на таро.

От сердца отлегло. Всего лишь дура Янка и её дешёвые
карточные фокусы. Нашла из-за чего шум разводить.

– Яна, я православный человек. Мне не нужны твои гада-
ния, ясно? Всё в руках Божьих.

– Дима, ты не понимаешь! Я не собиралась специально
на тебя гадать, вот нахуя мне это, а? Желающих полная лич-
ка, модератор уже не справляется, надо второго брать. Меня
умоляют погадать, Дима, за деньги и при чём не маленькие.
Я хуйни не скажу, всё чётенько разложу, как надо. И вот я
просыпаюсь сегодня, и в голову как ударит – надо сделать
расклад на Димыча. Вот надо и всё. Самый простой, в три
карты. Ты не представляешь, как всё легко пошло. Провер-
ка идеальная – все десять карт в прямом положении, у меня
никогда такого не случалось. Это буквально призыв – рабо-
тай! А там ещё колода такая... Ладно, не будем, ты меня за

такое на костре сожжёшь.

– Яна, прекращай. Я не хочу ничего знать.

Он терял терпение. Ему уже нужно готовить всё к службе, а он тут оттирается и выслушивает бредни этой размалёванной идиотки. Может просто сбросить вызов? И только он подумал об этом, как Янка закричала:

– Дима! У тебя перевёрнутое Солнце, Башня и Дьявол! Но это не всё. Там под Дьяволом оказался...

Хватит. Он выключил телефон и, перекрестившись, зашёл в храм. Всё это пустое мракобесие. Карты ничего не решают. На всё воля Божья, и Он не оставит просящего без Своей защиты. А пытаться заглянуть в будущее, подсмотреть Божий замысел – гордыня и маловерие. Он доверяет своему Создателю. Он весь в Его руках.

Привычное благоуханное тепло опалило замёрзшее лицо. Он дома. Он наконец-то дома.

Щенячий восторг выступил слезами на глазах. И золотые царские врата расплылись в мягком мареве.

Тихая субботняя служба. Народу в храме мало, только самые истовые из христиан. Вечерняя исповедь для тех, кто не может прийти рано утром. Никодим закрылся в алтаре. Здесь, за царским вратами, дозволено находиться лишь избранным. Это почти Рай, его земное преддверие с престолом для Царя царей. Нерушимая цитадель Христова.

С благодатью в душе Никодим возвратился домой. Всего одна ночь и Дьявол будет окончательно побеждён. Всего од-

на ночь.

Ночная тьма ещё стояла под церковными куполами, когда утром он снова вошел в любимый золото–оранжевый полумрак. Возле распятия собралась небольшая очередь на исповедь. Конечно, это же не Пасхальная литургия, на которую всегда аншлаг из кого ни попадая, от верных прихожан до случайных прохожих, которые вдруг вспомнили, что когда–то в далёком детстве их крестили «на всякий случай». Никодим встал позади всех, но отец Гермоген, заметив его, махнул рукой, подзывая к себе вне очереди. Старушки в платочках, печальные женщины средних лет, грузные мужчины с суровыми лицами и сонные, хмурые дети, приведённые сюда насильно, расступились перед ним. Смущенно опустив голову, Никодим подошел к отцу Гермогену и смиренно склонил голову.

– В чём хочешь покаяться, чадо? – мягко, по-свойски спросил тот. Можно было заранее подготовить листочек с перечнем грехов и отдать его, но Никодим всегда, с самой первой исповеди, предпочитал говорить. Страдать, сгорать со стыда, пересиливать себя, но говорить, говорить, захлёбываясь в слезах и словах, в осознании собственной мерзости и ощущении, как скверна исходит из тебя с каждым озвученным откровением.

Но сегодня всё было не так. Он пришёл исповедаться ровно в одном грехе и не мог озвучить его. Болтал что-то про ненависть к матери, про гордыню, про уныние, старый за-

ученный набор, а на задворках сознания, где-то в затылке застыл пламенный всадник и с лукавым любопытством взирал на него. Пристальные синие глаза, выпуклые, чувственные губы изогнуты в усмешке, и во всём этом такая скорбь, такая тоска, будто Он не созидатель Зла, а его жертва.

– В чём ещё ты грешен, чадо? – вкрадчиво спросил отец Гермоген.

Нет. Он не может... Как это вообще сказать? Как это всё объяснить? Ещё и отцу Гермогену... Что он подумает о нём? Да, он слышал его первую, косноязычную, мерзкую исповедь, но, с другой стороны, подумаешь он воровал по мелочи и жрал колёса ради сиюминутного кайфа. То был Дмитрий–грешник, а он Никодим–праведник. Он не мог хулить Богородицу и Спасителя даже краем мысли. Иначе он...

Расшитая золотом епитрахиль опустилась на его затылок. Мир вокруг перестал существовать. Никодим остался наедине со своими прегрешениями. Наедине с Богом.

– Отпускаю грехи твои вольные и невольные, чадо, и отпускаю тебя до причастия Святых Христовых тайн.

Вот и всё. Кровь стучала в голове. Впервые он шёл с исповеди с тяжёлой душой и скверным предчувствием. Он соварал. Не прямо, всего лишь молчанием. Самый страшный грех – трусость, но ведь даже апостол Пётр согрешил им, и Господь простил его. Простит Он и его, ведь так? Он видит все мысли, и Он всё равно допустил его до причастия. Он забрал его не озвученный грех. Он исцелил его.

Но сколько бы Никодим ни утешал себя подобными мыслями, радости в его душе не появлялось.

Веня, старший алтарник, читал часы, певчие, дожидаясь начала литургии, перелистывали свои записи и шепотом переговаривались меж собой, как стайка птиц. Редкие прихожане медленно крестились и склонялись в поклоне. Прощмыгнув за дверь с архангелом Михаилом, Никодим принялся помогать в алтаре. Служба началась. Как в первый раз, как в каждый раз его охватил трепет. Он служил Богу. Он имел смысл.

Перед Причастием, как обычно, волнительная подготовка. Нужно всё успеть, всё сделать правильно и проследить, чтоб новенькие алтарники не оплошали. Только в этих заботах он чувствует себя собой. Как он может не стать священником? Здесь его место и нигде больше.

– Верую! – возвестил разрозненный хор из десятка голосов. – Во единого Бога–Отца Вседержителя...

Символ Веры. Неистовая торжественная молитва, пробирающая до мурашек. Скоро Причастие, Святой Дух сойдёт на них, и хлеб и вино станут Кровью и Плотью Христовыми. Руки дрожат. Перед глазами всё плывёт в золотой благоуханной дымке.

– Никодим, ты в порядке? Принести воды? – обеспокоено спрашивает Веня.

– Нет, не надо, спасибо...

Дурнота подступает с новой силой. Как же здесь душно.

Свечи чадят, исторгая тяжелый медовый аромат. Люди пожирают все крупички свежего воздуха, чтобы исторгнуть из своих грязных тел молитвы. Святые лики сливаются в единое золотое пятно.

Никодиму кажется, что он умирает.

– Отче Наш...

Нужно собраться, сейчас будет самое главное. Он не может разобрать ни единого слова, не слышит даже собственного голоса, но губы шевелятся, повторяя хорошо знакомые слова.

Миг торжества.

– Святая святым!

Там, за воротами алтаря, за задёрнутой алой шторой, люди опустились в земном поклоне перед величайшим чудом. Свершилось. Отец Гермоген и диакон причащаются.

Наконец распахиваются царские врата и отец Гермоген медленно спускается по ступеням, держа в руках Чашу. Никодим замер по правую руку. Посередине храма уже собралась очередь причастников. Сначала матери с младенцами, потом дети, а затем взрослые. У всех руки лежат крестом на груди.

Они с Веней растягивают широкий красный плат под чашей, и подносят его к каждому, подходящему к Чаше, чтобы ни единой частицы не упало вниз. Алтарники всегда причащаются последними, и он терпеливо ждёт своего часа.

– Причащается Святых Таинств раб Божий Никодим.

Он смиренно приближается к Чаше. Позолоченная ложечка зачерпывает красно-розовое содержимое. Никодим закрывает глаза. Сладость вина и хлеба, Крови и Плоти касается его языка. Он спешно проглатывает их, целует Чашу и вслед за Веней и отцом Гермогеном возвращается в алтарь. Внутри что-то ворочается. Что-то мерзкое, что-то тяжелое и острое, будто он проглотил наждачную бумагу.

Вдруг в глазах всё померкло.

Тяжёлый золотой свод упал ему прямо на голову. Господи... Нечем дышать. По горлу поднимается мерзкое, ядовитое тепло. Желудок содрогается в конвульсиях. Собственная желчь обжигает язык. Нет... Только не сейчас... Он не может. Внутри него только причастие, как же он... Скверна, скверна, скверна... Нужно дышать. Вот так, да. Вдох-выдох. Но вместо воздуха тёплый смрад из ладана и воска. Перед глазами всё рябит мелкой дрожью. Он умирает. Хуже, чем умирает.

– Никодим! Что с тобой, Никодим?

Кто-то зовёт его, но он не слышит. Желчь бьётся прямо о губы. Никодим бросается прочь из алтаря, расталкивает редкую толпу прихожан, чувствует на себе пронзительные взгляды. Только не в храме. Только не...

По глазам бьёт безжалостный белый свет. Под ногами мелькают ступеньки. Он едва не спотыкается об них. Твердь. Он останавливается и...

Его живот, его горло содрогаются. Он едва успевает за-

крыть рот ладонью. Он задыхается от слёз отчаяния, от слёз омерзения. От лютой ненависти к себе.

Его тело не приняло Святых Даров. Он проклят. Он отмечен Дьяволом.

А в затылок светит первое за этот месяц чистое солнце. Слепое и насмешливое. Празднующее новую победу в долгой войне.

Медовое солнце

До той прогулки на Лобное место мама была нормальной. По крайней мере, ему так казалось. Она хлопотала по дому, спрашивала как дела в школе, проверяла дневник и домашнюю работу, по выходным водила гулять в ближайший парк или, если повезёт, в цирк или кино. В плохую погоду они все вместе, включая вечно занятого отца, садились в гостиной и читали книги в мягком свете длинных напольных ламп с шёлковыми абажурами. Хотя жили они здесь же, в этой квартире на Покровке, в самый центр города выбирались редко, мама его не любила, особенно в праздники, и до того злополучного дня на Красной площади он бывал лишь раз, когда их от школы водили на парад в честь годовщины Октябрьской революции.

Увлеченный стройными рядами весёлых советских граждан и флажком в своей руке он мало что запомнил, кроме вездесущего красного цвета, льющегося по камням и людям неукротимым потоком. И стены древнего Кремля, и разряженный кружевами и завитками собор Василия Блаженного, и похожий на сказочный терем Исторический музей, и выходящие на прохладном осеннем ветру стяги с серпом и молотом, и пиютки с галстуками у пионеров, и сотни–тысячи шариков, порывающихся в серое небо – всё горело красным. В ночь после парада сонная тьма перед закрытыми глазами

мерцала этим невозможно русским цветом и гремела бра-
вурными маршами.

Отгремел День Победы с его величественным парадом, весна плавно перетекала в лето, когда он вдруг ухитрился слечь с простудой. То ли открытое на ночь окно, то ли четвертый стакан ледяной газировки из уличного автомата – поди разбери, что подкосило его, а результат всё равно один: на пять дней его заперли дома, в самый разгар дворовых матчей и велосипедных гонок. Он не особо любил эти бесхитростные игрища, вся эта потная возня, порванные рубашки и лиловые тумачи... Было в этом что-то низменное, плебейское (это слово он подцепил в папиной книжке про Древний Рим и всё хотел где-нибудь вернуть), но уважение сверстников требовало его участия. Силой и ловкостью он не отличался, к счастью, этого и не требовалось, чтоб войти в круг первых. За серьёзный вид и здоровые очки ему всегда присуждали роль бесстрастного судьи и относились с должным почтением, а не как к очередному доходяге-заучке, которым он, по сути, и являлся.

Мелкий, близорукий, с приглаженным белокурым «спринтом» вместо типичного полубокса или «горшка», с острыми, будто купированными ушами и безупречно вежливым голосом – ему на роду было писано стать отщепенцем в мальчишеских кругах, но что-то за толстыми стёклами и черепаховой оправой заставляло ребят искать с ним дружбы. Возможно, сила только зарождающегося характера, а может

зарубежные игрушки и лакомства, которые отец привозил из постоянных командировок. Его мало волновали причины, он просто осознал свою исключительность и наслаждался ей.

В одном классе с ним учился Женьчик, такой же щедушный умник, такой же сын важных родителей, вот только его никогда не звали играть во дворе. С ним в принципе разговаривали только на контрольных или перед уроками, если требовалось по-быстрому скатать домашку, а в остальное время стреляли в его розовый затылок облюбованными бумажными катышками, перебрасывались его портфелем и подставляли подножки, когда он с последним звонком торопился сбежать из ненавистой школы. Он не боялся оказаться на месте Женьчика, до такого ему в жизни не опуститься, а вот выпасть из компании вполне возможно. Во дворе каждый день ощущался за месяц, а неделя, почитай, годом будет.

Но пойти против мамы и её наказа сидеть дома... Даже думать нечего. Узнает, сама отругает и отцу со всеми потрохами сдаст, и не видать ему тогда заграничных комиксов и походов в кино до самого Нового года. Томясь в неволе, он с утра до ночи лежал с очередной книжкой о покорении космических далей и слушал, как на солнечной, тонущей в зелени и каштановых свечах улице шумит многоголосая чужая юность. И вдруг на третий день больничного заточения после обязательной овсянки и цикория, который ему как отцу подавали в маленькой кофейной чашке с позолоченными

узорами, мама, задумчивая более обыкновенного, спросила у него:

– Пойдём сегодня на Красную площадь?

Не веря своим ушам, он неловко кивнул и на всякий случай посмотрел в настенный календарь. 17 мая, вторник, ничего особенного, но да это и неважно. У мамы уже бывали такие всплески чудаковатых идей. Вечно прозябающая в своих мыслях, измученно-сонная, как только что разбуженный ребёнок, она с немым упорством несла на своих плечах нехитрый быт профессорской жены: готовила, стирала, обмахивала смешной пушистой щеточкой бесконечные книжные полки, ходила в магазин с большой тканевой сумкой вместо авоськи, помогала ему с уроками, – но всё это она в последнее время делала так вяло, так безучастно, что не будь её руки своевольно ловкими, а глаз цепким, она бы давно прослыла плохой хозяйкой и матерью.

Иногда в череде бесцветных будней и быстротечных праздников наступал день, когда мама оживала. Раз – и будто лампочку внутри зажгли. Она хватала его за руку и неслась в Сокольники, в Парк Горького, в Коломенское, покупала билет на теплоходик по Москва–реке, находила где-то конные прогулки и учила его держаться в седле, игнорируя мельтешащего рядом инструктора. Обычно по-советски сдержанная в нарядах, она одевалась в лучшее платье и под руку с отцом вела его в театр, обязательно на балкон, чтобы с видом величайшей тайны выдать ему старинный бинокль и всё

представление нашептывать какие-то интересности про постановку, сюжет, актёров, хотя он никогда ничего не спрашивал.

В такие дни мама становилась сама не своя, много говорила, всё порывалась куда-то пойти и что-то сделать, её карие глаза блистали тёплым медовым светом, а губы, сомкнутые застарелой тоской, распахивались в девичьей улыбке, и вся она была такая живая, такая пламенная и смешливая, что он её побаивался. Серьёзная женщина с низким пучком и бесцветным голосом была ему куда роднее.

В этот раз мама не оживилась. Напротив, её привычная сумрачность сгустилась до осязаемого грозового облака, тяжело давящего на макушку и плечи, лишая затею с прогулкой всякой радости. За весь путь в метро мама не проронила ни слова, а когда перед ними раскинулись помпезные кремлёвские стены, желваки на её худом лице напряглись двумя бугорками. Они прошли через ворота возле Нулевого километра, прямо у бока Исторического музея, и под ногами их раскинулась самая известная площадь страны, блестящая чёрной скользкой брусчаткой, залитая солнцем, гудящая немногочисленной будничной толпой, живая и пульсирующая как огромное обнаженное сердце. К мавзолею тянулась реденькая очередь, у нарядного светлого здания ГУМа группка студентов лакомила мороженым, вдали высился пышный каравай Василия Блаженного с бронзовыми Мининым и Пожарским на страже. Из-за кремлёвских стен вы-

вглядывали маковки церквей, и ему очень хотелось пройти внутрь, прямо под Спасской башней с курантами, но, почти дойдя до неё, мама вдруг свернула к Лобному месту.

Рядом со сказочным дворцом ГУМа и аляповатым русским великолепием собора какой-то глухой, потрёпанный временем колодец Лобного места выглядел убогим голодранцем на царском крыльце. Внутри него валялись россыпи мелких монеток, брошенных на удачу и осуществление заветных мечтаний, некоторые уже потемнели от времени. Он едва взглянул на Лобное и пошёл было дальше, к заветным воротам Спасской, но мама не сдвинулась с места.

Она замерла у чёрных кованных ворот, таких низких, что при желании их мог перепрыгнуть любой хулиган, и смотрела неотрывным стылым взглядом в середину, куда все старались закинуть монетку, только она видела там что-то иное. Мороз прошёлся по спине. Мама стояла неподвижно, будто мраморная статуя, и даже глаза её лишились признаков жизни. Она вся обратилась в созерцание чего-то незримого и страшного, безусловно страшного. Рука её мелко дрожала, когда он опасливо взялся за неё и чуть потянул с робким «мааам, пойдёоооом». Мама даже не посмотрела на него, а потом часто-часто заморгала и спустилась по ступенькам обратно на брусчатку.

– Мам, что случилось? – вглядываясь ей в лицо, осторожно спросил он. Мама никогда не плакала. Даже когда в том году не стало бабушки, которую он никогда не знал. Теле-

грамму мама приняла стоически, хоронить поехала одна, хотя отец до последнего порывался отправиться с ней. Вернулась через неделю спокойная, будто в магазин сходила, с порога спросила убирался ли он в комнате. А сейчас стояла возле обветшалого памятника русской истории и молча глотала слёзы.

– Ничего, совершенно ничего не случилось. Я просто... Солнце сегодня такое яркое, что... – она осеклась на полуслове. В пяти шагах от них остановился какой-то деловитый старик, стройный и высокий, в поношенном твидовом костюме с золотой брошкой–солнцем на лацкане. Один луч этого солнца иглой тянулся дальше других, то ли порываясь пронзить тело своего носителя, то ли указывая на его сердце. Чуть опустив седую голову, старик вежливо улыбнулся им и двумя пальцами коснулся нагрудного кармана, словно собирался вытащить платок, но, так этого и не сделав, дотронулся до лба, а затем указал на солнце. Вслед за движением старика он быстро глянул вверх, но ничего интересного не увидел. Пламенное светило зависло над их головами в полном одиночестве, как было вчера и будет ещё долго.

Вдруг мамина рука выскользнула из его ладони. Глядя на старика изумленным, пугливо–оленьим взглядом, мама двумя пальцами коснулась груди, лба и тоже указала на солнце. Старик расплылся в радостной улыбке и бодро зашагал к ним навстречу.

– А я всё глядел на вас, голубушка, и думал, ну, точно из

наших будете, такая скорбь на вашем чудесном лице, хоть иконы пиши. Меня Петром Петровичем величают. Симбирцев, доктор исторических наук, может слышали? Нет? Ну и неважно, суета сует, я особо нигде не свечусь, от мирской славы столько бед. А вы, голубушка?

– Аида Волкова–Владыкина, – представилась мама чужой фамилией. Она была Званцевой, как и они с папой. Он с тревогой посмотрел ей в лицо, но мама начисто забыла о его существовании. Всё внимание её потемневших глаз сосредоточилось на старике. Услышав ответ, тот восхищенно ухнул, как филин.

– Волкова–Владыкина? Уж не ваш ли батюшка у южных старостой служил?

– Нет, то был мой дед. Отец не решился перенять его дело после того, как... После того что произошло, если вы меня понимаете.

Старик опустил взгляд и сочувственно закивал.

– Да–да, голубушка, понимаю, как не понимать? Ужасное злодеяние, но Господарь помнит всякого, кто пострадал за Него. В те годы много подобных страдников народилось, особенно, после того как пристрелили романовского недоноска с его выводком. Тогда–то белая сволочь совсем озверела. У меня самого дядя иконы писал, от православных просто человеку в жизни не отличить, до того ловко он знаки умел прятать. Так какой-то негодяй из своих его выдал! Расстреляли прямо в мастерской, без суда и следствия. Мы

с родными тогда в Орёл перебрались, к родне, а когда вернулись дядю хоронить, вся наша московская квартира была перевёрнута. А кабы не уехали, и нас бы всех подчистую... Вы простите, голубушка, что я вам такие страсти рассказываю, тем более при ребёнке. Он у вас...

– Он ничего не знает, – резко оборвала мама и, опасливо оглядевшись по сторонам, подошла ближе к старику и жарко зашептала, – Я... я сама давно отошла от всего этого, ещё до замужества, супруг у меня прирождённый атеист, в православного Бога никогда не верил, а уж о... о Нём я с мужем даже заговорить не решалась, за сумасшедшую меня бы принял. Да и я, если честно, сама считала это каким-то безумием, в школе и университете одно говорили, а дома другое. Мне легче без Него жилось, спокойнее. А сегодня вот не знаю, что на меня нашло.

Мама нервно повела плечами.

– Пришла сюда, хотя площадь эту чёртову всегда десятой дорогой обходила. Верите, посреди ночи проснулась, небо только-только светлеть начало, и в голове одна мысль: «Надо идти на Лобное». Надеялась, что отвяжется, да ни в какую. И вот я здесь...

Старик серьёзно и долго молчал, позволяя сказанному раствориться в приглушенном площадном гомоне.

– Значит, Господарь позвал за вами, голубушка. Радуйтесь.

Неожиданно мама всхлипнула всей грудью и, закрыв ли-

цо ладонью, разрыдалась. Невыразимый страх заворочился у него в подвздохе. Хотелось убежать подальше, прочь от Лобного места и заветной Красной площади, прочь от кремлёвских стен, куда-нибудь, откуда не видны красные звёзды. Что-то странное веяло с тёплым майским ветром, и чем больше он вдыхал его, тем сильнее крепчал страх, а вместе с ним иное чувство, похожее на лёгкое покалывание, будто он только снял шерстяной свитер и коснулся металлической пряжки ремня.

Сочувственно пожав мамино плечо сухощавой длиннопалой ладонью, старик принялся ворошиться в нутре своего портфеля из потрёпанной коричневой кожи, местами протёртой до желтизны. Наконец он извлёк бумажный свёрток и, бережно развернув его, протянул маме румяный коржик в виде солнца. Густой медовый запах защекотал ноздри.

– Вот, возьмите, голубушка, Господаря ради. Моя старушка в них изюму добавляет и немного миндаля, надеюсь, вы ничего против не имеете?

Мама убрала руки, и ему предстало её лицо, блестящее от слёз, красное и нежное, как полевые маки.

– Мои мама и бабушка тоже добавляли их, а во время войны – кусочки каштанов и грецкого ореха. Они на улице росли, ничейные. Даже тогда по всем правилам готовили: побольше сливочного масла, растопить его с мёдом, они брали гречишный, на медленном–медленном огне, постоянно помешивая, яиц самых крупных и свежих, муку три раза просе-

ять и перемешивать, пока комочков совсем не станет. Как испечется, смазывали его желтком с мёдом и ещё на пару минут в духовку, подрумяниться. Подумать только, мы год могли перебиваться с воды на хлеб, жить впроголодь до самого лета, но в Скорбный день мы всегда были сыты, — мама печально улыбнулся своим воспоминаниям и взяла из рук старика коржик. Поднесла к лицу, глубоко вдохнула его упоительный аромат и, смаргивая вновь подступившие слёзы, разломала надвое. Одна половинка досталась ему, от второй мама медленно, будто боясь обжечься, откусила крошечный кусочек. Он последовал её примеру. Ничего вкуснее он в жизни не пробовал. Медовое тесто таяло на языке, и рот наполнился тёплой сладостью, как будто он откусил кусочек настоящего майского солнца, ещё мягкого, не набравшего испепеляющей летней силы.

— Вкусно? — с лукавым прищуром спросил у него старик. — Вижу-вижу. Голубушка, вы уже к Петру ходили? Нет? А, с Охотного вышли, понимаю. Я на Котельнической живу, не в высотке, а по соседству. Каждый год гуляю мимо реки до Красной. Пойдёмте, я вам компанию составлю, заодно пообщаемся.

Они двинулись мимо собора Василия Блаженного к набережной, наполовину скрытой за огромной шумной стройкой. Как нелепо смотрелись громады из металла и бетона, серые, массивные, рядом с белым Английским подворьем, красным пиршеством ещё какой-то церкви, чьего названия

он не знал, и низенькими боярскими палатами. Проходя мимо последних, старик брезгливо поморщился, будто учуял помойку.

– Вы бывали на его могиле? – тихо спросила мама.

– Каждый год, хотя чем сильнее бесновался Николашка, тем опаснее было туда ходить. Помню, пошли мы с отцом в 1913, как раз в тот год праздновали трёхсотлетие их проклятого ига, уже почти до церкви дошли, как видим, нам навстречу спешат наши знакомцы по вере и, обняв нас, говорят: «Не ходите сегодня до Петра, около него ищейки рыскают, спрашивают, за каким делом к старым могилам пришли. При нас Лёвушку забрали». Мы сходили до Лобного и возвратились домой. После этого или в ночь ходили, или на заре. Представьте, голубушка, неказистая могилка, деревянный крест, уже имя почти стёрлось, травой всё поросло, васильками да одуванчиками, а там под землёй лежит Господарев апостол. Самый преданный из русского народа.

Старик горестно вздохнул и поежился от порыва холодного речного ветра.

– Теперь и того нет. Разворошили всё, растоптали ради этого муравейника убогого.

– Всем сейчас досталось, – робко заметила мама.

– То верно, голубушка, но не думайте, что единая беда сплотит нас с остальными. Мы были и будем для них бешеными собаками, которых нужно отстреливать ради общего блага, ради Бога, ради кого угодно. У католиков были ката-

ры, у православных – димитриане, и они не успокоятся, пока не уничтожат нас всех до единого. Я уже видел их крестовые походы во времена Гражданской войны и, боюсь, едва братья–христиане снова получают власть в свои руки, они объявят новый поход, больше и злее прочих. Так что, благослови Господарь советскую власть, сравнявшую всех в единый ряд.

– Вы радуетесь, что теперь все страдают как мы?

– А что, кого-то из них тоже сожгли живьём, вот прямо целую деревню разом? – мягкий голос старика вдруг сковался холодом и сталью. Мать вздрогнула, отвела взгляд.

– Это случилось до моего рождения. И узнала я об этом уже очень взрослой, когда... когда сказала своим, что больше не намерена разделять их сумасшедшую веру в... Вы простите, я и сейчас не могу вслух сказать это. Мне нужно время разобраться.

– Хорошо, возьмите всё причитающееся вам время и решите для себя готовы ли вы служить Господарю или нет. Он позвал за вами, но Он взывал ко многим и в жизни, и после смерти, но ваша воля отзываться или нет. Вы можете отсидеться за своими крепкими дверями, пока церкви бьют в набат, пока Василий Окаянный созывает всех псов и гонит Господареву паству под нож... – голос старика срывался, и капли пота выступили на морщинистом лбу. – Но вы не одна, голубушка, вы растите сына и отказываетесь причастить его к правде, которой владеете сызмальства. Даже если вы снова решите отвергнуть свет и вернуться во тьму, вы сделаете это

осмысленно. А ваш сын не знает света и не найдёт его без вашей помощи. Вы обрекаете его на гибель.

– Но как я объясню ему? Я никогда не относилась всерьёз к вере, это просто было частью семейных традиций, я и книг дедовых в руки–то не брала, а сейчас они, поди, сгнили в отцовском доме.

Старик остановился, вновь открыл портфель, выудил кусок бумаги и половинку карандаша и, подложив портфель, быстро-быстро что-то написал.

– Вот, мой адрес и номер телефона. Приходите сами и берите с собой сына. По воскресеньям у меня часто бывают гости, познакомьтесь с остальными, полезно пообщаться с единоверцами. Консьержке скажете, что к профессору Симбирцеву на собрание любителей истории. Бывайте, голубушка. Да воссияет Солнце Правды.

– И не погибнет в лживом пламени, – зачарованно прошептала мама. Старик довольно кивнул ей, бегло погладил его по голове и бодро зашагал дальше по набережной, к изящному шпилью высоты.

Они с мамой простояли больше часа, глядя на Москва–реку, на противоположный берег с домами, слушали грохот стройки и шарканье сотен шин по дороге, птичьи переклички молодых и старых. Он переминался с ноги на ногу, не зная, чем себя занять, но потревожить маму он не смел. С ней творилось что-то важное.

Вернувшись домой, мама опустилась перед ним на колени

и сказала, пронзительно глядя в глаза:

– О нашей прогулке папе ни слова. Это будет наша тайна, как на войне, ты понял меня?

– Хорошо. А ты возьмёшь меня в гости к тому дедушке?

– Посмотрим.

Посмотрим значило «никогда». Пока мама переодевалась, он вытащил из её сумочки бумажку с адресом, быстро переписал и вложил в книгу про графа Монте-Кристо. Так, на всякий случай.

В следующее воскресенье мама ушла в гости к старой школьной подруге, как она сказала. Но вернулась она не усталой и скучной, а взбудораженной, в ней бегали маленькие молнии, и отсвет их блистал в её глазах. Папа уехал в командировку ещё в пятницу, и вечером они сели читать вдвоем. Вместо пухлого романа с витиеватым названием мама держала в руках какую-то рухлядь в драной обложке, часть страниц были порваны на уголках, и мама перелистывала их аккуратно, бережно, словно перекладывала старые стеклянные игрушки из кокона газет на Новый год.

Мама пропадала всё чаще, уже по два-три раза в неделю, и становилась всё чуднее и чуднее. Она сияла, он отчетливо видел это и догадывался, что мама ходит к тому старику с Лобного. Однажды она так и ответила папе «Иду к профессору Симбирцеву, у него домашний клуб любителей истории. Если хочешь, можем вместе сходить». Папа сходил один раз, историю он любил, но не настолько, чтоб тратить

на неё выходные, а мама продолжила посещать лекции каждое воскресенье.

Всякий раз, когда за ней захлопывалась дверь, он вздрагивал и выходил в коридор. Эхо удаляющихся шагов гремело в унисон с его сердцем.

Их тихий, уютный домашний мир захватило запустение. Холодильник быстро пустел, обрастала морозной корочкой морозилка с прошлогодними заготовками, серыми и твёрдыми, как придорожные камни. Мама не готовила, сидела в родительской комнате за своими книжками, погружаясь в них с головой, не выходила, когда он возвращался с учёбы, ничего не спрашивала про школу, про уроки. Она куда-то пропадала, даже когда сидела совсем рядом, просто протяни руку и коснись. Но он не смел дотронуться до неё. Ему казалось, любое неосторожное касание спугнет маму, и она птицей улетит далеко-далеко, как в старой эскимосской сказке, прочитанной им давным-давно. Давя тревогу и страх, он усердно закапывался в книги и уроки, молча глотал скудный обед, сам гладил и стирал школьную форму. Делал всё, чтобы не мешать маме.

А она даже не заметила этого. Она вся сосредоточилась в себе и своих странных книгах. Долго этот худой мир не мог продержаться. Отец устал от пустых круп и толстого слоя пыли на полках, и тогда начались скандалы. Он был учёным, одним из лучших в молодой космической отрасли, всё его время и силы принадлежали науке. Кто-то должен был бе-

речь его земной быт, пока он жил в далёких небесах. Отец не повышал голоса, не терял самообладания, даже не вставал из-за стола, только снимал очки и медленно, монотонно заводил свою отповедь. Его тяжелые слова асфальтом ложились на маму, которая пускай держалась дерзко и горделиво, но по её лихорадочно блестящему лицу то и дело проносилась резкая судорога страха. Она скрещивала руки на груди, вздергивала подбородок и, сама того не замечая, отступала назад шаг за шагом, пока не упиралась спиной в шкаф или холодильник.

Он понимал, что нельзя подсматривать и подслушивать взрослые разговоры, и потому изо всех сил сливался с темнотой коридора. В прятках ему не было равных.

– Аида, скажи честно, что с тобой происходит? У тебя появился другой? – однажды спросил отец. Впервые его спокойный, метрономно размеренный голос дал трещину. В него просочилась тревога, жалкая, похожая на скулёж уличной собаки. Как же беззаветно он любил маму. Вот только ни черта её не понимал.

– Отчасти, – резко выпалила она. – Но он не любовник. Он куда важнее.

– Не говори загадками, очень тебя прошу, я устал с работы.

На стол с тихим стуком легли отцовские очки.

– Кто же это? Тот старик–профессор? И что ему от тебя нужно? Ты вроде по образованию учительница литературы,

а не истории.

– Это не живой человек.

– Опять загадки. Аида, хватит. Что требует всех твоих сил и внимания? Ради чего ты забросила наш дом, нашего сына? Ты видела, как Сёма осунулся? Он человеческую еду только в гостях ест, потому что у нас одна гречка да макароны. Знаешь, сколько раз родители его друзей звонили мне на работу и спрашивали, не болеет ли он чем? Звонили мне, потому что ты никогда не берешь трубку. У Сёмы сейчас самый разгар роста, а я уже третью дополнительную дырку пробил на его ремне, чтобы брюки не спадали. Когда их в последний раз нормально стирали, я и спрашивать не буду. Аида, я не могу взять на себя эти заботы, я работаю допоздна, у меня сил на это нет! А ты сидишь дома, занимаешься неизвестно чем, но только не бытом и нашим ребёнком! Так объясни же мне наконец, что вдруг стало для тебя таким важным?

Мама долго молчала, прежде чем гудящую кухонную тишину разбавил усталый вздох, а за ним прозвучал тихий, по-детски звенящий голос:

– Я никогда тебе не говорила, но я выросла в верующей семье. Очень верующей, мой дед даже пострадал за это. Его убили, жестоко, вместе с целой толпой народа. Мои родители тогда в город уже перебрались, их это спасло, но они продолжали верить, и нас всех в этом растили, только вот я отошла от этого, как только переехала в Москву и стала жить сама по себе. Мне казалось, всё, с верой покончено, я атеистка, я

не верю ни во что кроме науки и социалистических идеалов. Но недавно, в мае, я... я проснулась и ощутила, что мне надо вернуться. Вернуться к вере, которую я, будучи ребёнком и подростком, вообще не понимала, просто воспринимала как данность или стариковские глупости. А теперь я чувствую её, я чувствую зачем я здесь, что я должна делать! И, боюсь, это никак не связано с домашней жизнью обычной советской гражданки.

Теперь настала пора отцу молчать.

– Значит, ты хочешь бросить всё и удариться в кликушество с платочками, свечками и крестиками? Может, ты ещё в монастырь хочешь уйти?

– Не равняй меня с этой православной сворой! Это они растерзали моего деда и многих других только за то, что мы веруем в истинного Господаря земли русской!

– Ясно, это ещё и секта. Аида, дорогая, ты взрослая женщина, умная, образованная, ты же понимаешь, что нет никаких богов и господарей? Как можно служить им? Отдавать свою жизнь, свои силы и таланты тому, чего нет? Замшелым фантазиям суеверных стариков. Давай обратимся к специалисту, хорошо? Твоему наваждению должно быть простое разумное объяснение, какие-то гормоны дали сбой, вот тебя и несёт невесть куда. Или ты заскучала в четырёх стенах. Хочешь, найдём тебе работу? Подруг заведешь, занятие по душе. Или на море поедем? Я возьму путёвку, в Крым или куда-нибудь в Абхазию. Только, пожалуйста, не совер-

шай необдуманных поступков.

– Я знала, что ты ничего не поймешь, Мефистофель. Оставим этот разговор. Я очень устала.

На следующий день он задержался в гостях до позднего вечера. Дедушка друга вызвался его проводить, тьма стояла кромешная. Дверь открыл папа, мрачный, измученный, пахнувший табаком, включенный будто только с постели. Отблагодарился, впустил его и, как только закрыл все замки, посмотрел на него с горечью, от которой в животе стало больно, как от удара ногой, и сказал:

– Мы теперь сами по себе будем, Сём. Мама с нами больше не живёт.

Эхо его слов зазвенело в коридоре. Он слышал его и не понимал, смысл кружил над головой мрачным стервятником, готовясь спикировать и растерзать насмерть в любой момент.

Мама больше с ними не живёт.

– А где она теперь будет жить? – тихо спросил он и закусил губу. В глазах плескались слёзы. Он ещё полностью не осознавал случившегося, но чувствовал ясно и отчетливо невозвратность всего происходящего. Это конец их семьи. Конец его детства.

Отец отвел усталые глаза.

– Она ещё не сказала. Ты голодный? Там макароны остались, и творог. Может быть, что-то ещё найдём, хотя бы варенье...

В первый и последний раз в жизни он видел отца плачущим. Бедный, он так до самой смерти и не узнал, куда делась его непутёвая жена.

Вечером и следующим утром мамины вещи по-старому лежали на своих местах, а когда он вернулся из школы, квартира осиротела. Пустота и тишина заполнили каж

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.